В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории

Автор:
Елена Шубина

В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории

Сборник

Наталия Евгеньевна Соколовская

Елена Шубина

«В Питере жить…» – это вам не в Москве, о которой нам рассказали в книге-бестселлере «Москва: место встречи». Что и говорить – другая ментальность, петербургский текст. Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, Борис Гребенщиков, Елизавета Боярская, Андрей Битов, Михаил Пиотровский, Елена Колина, Михаил Шемякин, Татьяна Москвина, Валерий Попов, «митёк» Виктор Тихомиров, Александр Городницкий и многие другие «знаковые лица» города на Неве – о питерских маршрутах и маршрутках, дворах-колодцах и дворцах Растрелли, Васильевском острове, Московском проспекте и платформе Ржевка, исчезнувшем в небытии Введенском канале и «желтом паре петербургской зимы»…

Наталия Соколовская, Елена Шубина

В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории

(сборник)

© Т. Толстая, Е. Водолазкин, А. Аствацатуров и др., 2017.

© А. Бондаренко, оформление, 2017.

© М. Шемякин, иллюстрация, 2017.

© В. Тихомиров, иллюстрации, 2017.

© Л. Штормит, иллюстрации, 2017.

© ООО «Издательство АСТ», 2017.

Желтый пар петербургской зимы,

Желтый снег, облипающий плиты…

Я не знаю, где вы и где мы,

Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?

Потопить ли нас шведы забыли?

Вместо сказки в прошедшем у нас

Только камни да страшные были.

…

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,

Ни миражей, ни слез, ни улыбки…

Только камни из мерзлых пустынь

Да сознанье проклятой ошибки.

Иннокентий Анненский

В Питере тире – пить! Не судьба!

Сергей Шнуров

Татьяна Толстая

Чужие сны

Петербург строился не для нас. Не для меня. Мы все там чужие: и мужчины, и женщины, и надменное начальство в карете ли, в «мерседесе» ли, наивно думающее, что ему хоть что-нибудь здесь принадлежит, и простой пешеход, всегда облитый водою из-под начальственных колес, закиданный комьями желтого снега из-под копыт административного рысака. В Петербурге ты всегда облит и закидан – погода такая. Недаром раз в год, чтобы ты не забывался, сама река легко и гневно выходит из берегов и показывает тебе кузькину мать.

Некогда Петр Великий съездил в Амстердам, постоял на деревянных мостиках над серой рябью каналов, вдохнул запах гниющих свай, рыбьей чешуи, водяного холода. Стеклянные, выпуклые глаза вобрали желтый негаснущий свет морского заката, мокрый цвет баркасов, шелковую зеленую гниль, живущую на досках, над краем воды. И ослепли.

С тех пор он видел сны. Вода и ее переменчивый цвет, ее обманные облики вошли в его сны и притворялись небесным городом – золото на голубом, зеленое на черном. Водяные улицы – зыбкие, как и полагается; водяные стены, водяные шпили, водяные купола. На улицах – водянистые, голубоватые лица жителей. Царь построил город своего сна, а потом умер, по слухам, от водянки; по другим же слухам, простудился, спасая тонущих рыбаков.

Он-то умер, а город-то остался, и вот, жить нам теперь в чужом сне.

Сны сродни литературе. У них, конечно, общий источник, а кроме того, они порождают друг друга, наслаиваются, сонное повествование перепутывается с

литературным, и все, кто писал о Петербурге, – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок – развесили свои сны по всему городу, как тонкую моросящую паутину, сетчатые дождевые покрывала. От бушующих волн Медного всадника и зелено-бледных пушкинских небес до блоковской желтой зари и болотной нежити – город все тот же: сырой, торжественный, бедный, не по-человечески прекрасный, не по-людски страшненький, не приспособленный для простой человеческой жизни.

Я непременно куплю в Питере квартиру: я не хочу простой человеческой жизни. Я хочу сложных снов, а они в Питере сами родятся из морского ветра и сырости. Я хочу жить на высоком этаже, может быть, в четвертом дворе с видом на дальние крыши из окна-бойницы. Дальние крыши будут казаться не такими ржавыми, какие они на самом деле, и прорехи покажутся таинственными тенями. Вблизи все будет, конечно, другое, потрепанное: загнутые ветром кровельные листы, осыпавшаяся до красного кирпича штукатурка, деревце, выросшее на заброшенном балконе, да и сам балкон с выставленными и непригодившимися, пересохшими до дровяного статуса лыжами, с трехлитровыми банками и тряпкой, некогда бывшей чем-то даже кокетливым.

Особенно хочется дождаться в питерской квартире поздней осени, когда на улице будет совершенно непереносимо: серые многослойные тучи, как ватник водопроводчика, сырость, пробирающая до костей, секущий, холодный ингерманландский дождь, длинные лужи, глинистые скверы с пьяными. Потом – ранняя, быстрая тьма, мотающиеся тени деревьев, лиловатый, словно в мертвецкой, свет фонарей и опасный мрак подворотен: второй двор, третий двор, ужасный четвертый двор, только не оглядываться.

Да, и еще длинные боковые улицы без магазинов, без витрин с их ложным, будто бы домашним уютом. Слепые темные тротуары, где-то сбоку простроченные глумящими, мокрыми, невидимыми деревьями, только в конце, далеко, в створе улицы – блеск трамвайного рельса под жидким, красным огнем ночного ненужного винного бара.

Кто не бежал, прижав уши, по такой страшной бронхитной погоде, кто не промокал до позвоночника, кто не пугался парадных и подворотен, тот не оценит животное, кухонное, батарейное тепло человеческого жилища. Кто не слышал, как смерть дует в спину, не обрадуется радостям очага. Так что, если драгоценное чувство живой жизни притупилось, надо ехать в Питер в октябре. Если повезет, а везет почти всегда, – уедешь оттуда полуживой. Для

умерщвления плоти хорош также ноябрь с мокрым, ежеминутно меняющим направление снеговым ветром, а если не сложилась осенняя поездка – отлично подойдет и март. В марте лед на реках уже некрепок, не выдержит и собаки, весь покрыт полыньями, проталинами, синяками, но дует с него чем-то таким страшным, что обдирает лицо докрасна за шестьдесят секунд, руки – за десять.

Непременно, непременно куплю себе квартиру в Питере, слеплю себе гнездо из пуха, слюны, разбитых скорлупок своих прежних жизней, построю хижину из палочек, как второй поросенок, Нуф-Нуф. Натаскаю туда всякой домашней дряни, чашек и занавесок, горшков с белыми флоксами, сяду к окну и буду смотреть чужие сны.

Окон в Питере никогда никто не моет. Почему – непонятно. Впервые я обратила на это внимание в конце восьмидесятых годов, когда началась перестройка. Ясно, что тогда телевизор было смотреть интереснее, чем выглядывать в окно: кого еще сняли?… что еще разрешили?… Потом интерес к политике угас, все сели, как завороженные, смотреть мыльные оперы, так что тут тоже стало не до ведер с мыльной водой. Потом жизнь поехала в сторону полного разорения, денег не стало, потолки осыпались на скатерти, а обои свернулись в ленты, и мыть окна стало как-то совсем неуместно. Кроме того, Питеру всегда была свойственна некоторая надменность, горькое презрение к властям всех уровней, от ЖЭКа до государя императора: если «они» полагают, что со мной можно так обращаться, то вот вам, милостивый государь, мое немытое окно, получите-с. Но возможны и другие объяснения: нежелание смотреть чужие сны, смутный протест против того, что куда ни повернись – всюду натыкаешься глазом на чужое, на неродное, на построенное не для нас. Или, потеряв статус столицы, Питер опустился, как дряхлеющая красавица? Или в ожидании белых, томительных ночей, выпивающих душу, жители копят пыль на стеклах, чтобы темней было спать? Или же это особое питерское безумие, легкое, нестрашное, но упорное, как бормотание во сне? Когда я осторожно спросила свою питерскую подругу, почему она не моет окон, она помолчала, посмотрела на меня странным взглядом и туманно ответила: «Да у меня вообще ванна в кухне…»

Эта была правда, ванна стояла посреди огромной холодной кухни, ничем не занавешенная, но в рабочем состоянии, при этом в квартире – естественно, коммунальной – жили двенадцать человек и, по слухам, мылись в этой ванне, не знаю уж как. И, наверно, это было, как во сне, когда вдруг обнаруживаешь, что ты голый посреди толпы, и этого никак не поправить по каким-то сложным, запутанным причинам.

Как и полагается лунатикам, петербуржцы гуляют по крышам. Существуют налаженные маршруты, вполне официальные, и можно собраться небольшой группой и отправиться с небесным поводырем на экскурсию, перебираясь с дома на дом по каким-то воздушным тропам; есть и частные прогулки: через лазы, слуховые окна, чердаки, по конькам крыш, на страшной для бодрствующего человека высоте, но ведь они спят, и им нестрашно. С высоты они видят воду, балконы, статуи, сирень, третьи и четвертые дворы, далекие шпили – один с ангелом, другой с корабликом, развешанное белье, колонны, пыльные окна, синие рябые кастрюли на подоконниках и тот особенный воздух верхних этажей – то серый, то золотой, смотря по погоде, – который никогда не увидишь в низинах, у тротуаров. Мне кажется, что этот воздух всегда был, висел там, на семиэтажной высоте, висел еще тогда, когда города совсем не было, надо было только построить достаточно высокие дома, чтобы дотянуться до него, надо было только догадаться, что он плавает и сияет вон там, надо было запрокинуть голову и смотреть вверх.

Если не запрокидывать голову, то в Питере вообще нечего делать: асфальт как асфальт, пыль или лужи, кошмарные парадные, пахнущие кошками и человеком, мусорные баки. Если же смотреть вверх, от второго этажа и выше, то увидишь совсем другой город: там еще живут маски, вазы, венки, рыцари, каменные коты, раковины, змеи, стрельчатые окна, витые колонны, львы, смеющиеся лица младенцев или ангелов. Их забыли или не успели уничтожить мясники двадцатого века, гонявшиеся за людьми. Один, главный, все кружил по городу мокрыми октябрьскими вечерами, перепрятывался, таился и в ночь на 25 октября, как нас учили в школе, заночевал у некоей Маргариты Фофановой, пламенной и так далее, а может быть, вовсе и не пламенной – тут вам не Испания, – а обычной, водянистой и недальновидной дамы с лицом белым и прозрачным, как у всех, кто умывается невской водой. На рассвете, подкрепившись хорошим кофе и теплыми белыми булочками с вареньем из красной смородины, он выскользнул в дождевую мглу и побежал в Смольный: составлять списки жертв, прибирать к рукам то, что ему не принадлежало, ломать то, что не строил, сбивать лепнину, гадить в парадных, сморкаться в тюль, разорять чужие сны, а в первую очередь расстреливать поэтов и сновидцев. Хорошо ли ему спалось на пуховичках у Фофановой, или он весь извертелся, предвкушая мор и глад? Сладко ли спалось пламенной Маргарите, или же к ней приходил предзимний кошмар, суккуб с членами ледяными, как ружейные стволы? Этого в школе не рассказывают, там вообще ничему важному не учат – ни слова, например, о конструировании и размножении снов, а между тем есть сон, в котором Маргарита, увидев, в свою очередь, другой сон – какой, мне отсюда плохо видно, мешает угол дома, – тихо встает с лежанки, прихватив

с собой подушку-думочку – небольшую, размером как раз с лицо – тихо входит к похрапывающему, жуткому своему гостю и во имя всех живых и теплых, невинных и нежных, ни о чем не подозревающих, во имя будущего, во имя вечности плотно накладывает плотную, жесткую, бисерными розами вышитую подушечку на рыжеватое рыльце суккуба, на волосатые его дыхательные отверстия, насморочные воздуховоды, жевательную щель. Плотно-плотно накладывает, наваливается пламенным телом, ждет, пока щупальца и отростки, бьющиеся в воздухе, ослабеют и затихнут. И город спасен.

Никакие сны не проходят бесследно: от них всегда что-нибудь остается, только мы не знаем, чьи они. Когда на Литейном, в душном пекле лета, глаз ловит надпись на табличке в подворотне: «Каждый день – крокодилы, вараны, рептилии!» – что нужно об этом думать? Кто тут ворочался в портвейновом кошмаре, кто обирал зеленых чертей с рукава? Кто послал этот отчаянный крик и откуда – с привидевшейся Амазонки, с призрачного Нила или с иных, безымянных рек, тайно связанных подземной связью с серыми невскими рукавами? И чем ему можно помочь?

Никому ничем нельзя помочь, разве что жить здесь, видеть свои собственные сны и развешивать их по утрам на просушку на балконных перилах, чтобы ветер разносил их, как мыльную пену, куда попало: на верхушки тополей, на крыши трамваев, на головы избранных, несущих, как заговорщики, белые флоксы – тайные знаки возрождения.

2003

Борис Гребенщиков

Пески Петербурга

Ты – животное лучше любых других,

Я лишь дождь на твоем пути.

Золотые драконы в лесах твоих,

От которых мне не уйти.

И отмеченный светом твоих зрачков

Не смеет замкнуть свой круг,

И пески Петербурга заносят нас

И следы наших древних рук.

Ты могла бы быть луком – но кто стрелок,

Если каждый не лучше всех?

Здесь забыто искусство спускать курок

И ложиться лицом на снег.

И порою твой взгляд нестерпим для глаз,

А порою ты – как зола;

И пески Петербурга заносят нас

Всех

По эту сторону стекла…

Ты спросила: «Кто?»

Я ответил: «Я»,

Не сочтя еще это за честь.

Ты спросила: «Куда?»

Я сказал: «С тобой,

Если там хоть что-нибудь есть».

Ты спросила: «А если?…» – и я промолчал,

Уповая на чей-нибудь дом.

Ты сказала: «Я лгу»; я сказал: «Пускай,

Тем приятнее будет вдвоем».

И когда был разорван занавес дня,

Наши кони пустились в пляс

По земле, по воде и среди огня,

Окончательно бросив нас.

Потому что твой взгляд – как мои слова:

Не надежнее, чем вода.

Но спросили меня: «А жив ли ты?»

Я сказал: «Если с ней – то да».

Никита Елисеев

Разорванный портрет

И нет Петербурга. Есть город осеннего ветра.

Борис Лавренёв. «Ветер»

Город неизвестных гениев

Петербург – Петроград – Ленинград – Петербург… (собаке трижды кличку сменить – с ума сойдет, а мы – ничего, привыкли)… есть город неизвестных гениев. Ну, скажем, жил такой поэт и писатель Вадим Шефнер. Ну, хороший писатель, чё? Потом проходит время, начинаем перечитывать, скажем, «Сестру печали» и в потрясении сами себе говорим: «Где были наши глаза и уши? Он же… гений…» Помню, стоял на палубе большого, большого корабля, поручни были покрыты крупными каплями, рядом была любимая женщина, чуть поодаль парень простоватого вида, бритый, само собой, наголо, обжимал счастливую избранницу. Что-то меня торкнуло… Вот эти крупные капли на поручнях, вероятно. Я возьми да и процитируй:

Мы все в грехах – как цветы в росе,

Святых между нами нет.

А если ты свят – ты мне не брат,

Не друг мне и не сосед.

Я был в беде – как рыба в воде,

Я понял закон простой:

Там грешник приходит на помощь, где

Отворачивается святой…

Парень оторвался от «обжима биксы» и выдохнул: «Круто… Это кто написал?» Волшебная сила искусства, однако… Вернемся на прежнее: Петербург – город неизвестных гениев. Бродит по городу инвалид, Роальд Чарльзович Мандельштам, нищий, на костылях, безработный, пишет стихи. Пьет. Колется. Нигде не печатается. А потом все охают, ахают: гений! «И, листопад принимая в чаши своих площадей, город лежит, как Даная, в золотоносном дожде». Таких примеров вы сами накопаете. Их не счесть. Здесь вопрос: почему так получилось и получается? Первый ответ самый простой. Нас очень много. Петербург – многолюден и многонаселен. По сути, маленькая страна, в ней легко затеряться. В ней по простой статистической вероятности может быть столь же много талантливых людей, как и людей обычных. Второй ответ посложнее. Почему их (талантливых людей) не замечают? Потому что они стараются, чтобы их не заметили. Никто не обратил внимания на то, что эксцентричный гений математики, Перельман, живет как раз таки… в Купчино. И всё делает, чтобы его не заметили. Сторонится славы. Бежит ее. Хотя слава его нагоняет. Получается в точности по стихам моего любимого Бенедиктова, обращенным к Музе:

Я гоню ее с криком, топотом,

Не стихом кричу – прозой рубленной,

А она в ответ полушепотом:

«Не узнал меня, мой возлюбленный!»

А почему талантливые люди здесь прячутся? Почему у них такой социальный инстинкт – спрятаться? Потому что стоят они на плечах растерзанных и убитых… Потому что любой ленинградский мальчишка, начинающий приобщаться к культуре, в какой бы ипостаси эта культура ему ни являлась, радикальной, консервативной, аполитичной, политизированной, неважно, приобщался к миру или убитому, или чудом выжившему…

Анабасис. Пивларек, декабристы и революция

С отрочества я хотел выйти к морю. Я жил напротив Большого драматического (бывшего Суворинского), на углу Лештукова переулка и набережной Фонтанки и мечтал выйти к морю. Сам, своим ходом. Кстати, свидетельствую: никто и никогда не называл переулок Джамбула переулком Джамбула. Все живущие в этом районе говорили «Лештуков». Любопытно, что переименовали переулок в 1944 году, тогда же, когда проспект 25 Октября стал Невским, улица 3 Июля – Садовой, а проспект Нахимсона – Загородным. Это в скобках. Неважно.

Важно, что я хотел выйти к морю. Мне думалось, что это очень просто. Вот тут Фонтанка впадает в Неву, значит, вот здесь она впадает в море. Значит, надо идти, идти по набережной и в конце концов выйдешь к морю. Ну и, стало быть, как греки-наемники из «Анабасиса» Ксенофонта, возопишь: «Таласса! Таласса!» – и ударишь в щит мечом, буде у тебя найдется щит и меч… И вот, каждое воскресенье я выходил в анабасис. Надо признаться, что парень я осторожный, можно сказать, трусоватый, поэтому далеко поначалу не уходил.

Шел себе по набережной, думал, мечтал, вспоминал. Я и сейчас, когда оказываюсь в тех местах, думаю, мечтаю, вспоминаю. Бородинка, скажем. Там была моя школа. А недалеко от школы – железнодорожный техникум. И до сих пор к стене этого техникума не привинчена мемориальная доска, а стоило бы. В этом здании в начале XX века работала знаменитая театральная студия Мейерхольда. А на пересечении Бородинки и набережной Фонтанки стоял не менее знаменитый пивной ларек.

Знаменит он был своей остойчивостью. С ним мужественно боролись учительницы нашей школы. Пытались его закрыть. Писали по инстанциям. Мол, тут дети в школу с ранцами и портфелями – топ-топ, а по пути следования ангельчиков – такой вертеп. Вы представляете себе, что они вынесут из общения? Ларек не менее мужественно отбивался. И стоял.

Насчет «вынесут»… Я «вынес» потрясающий афоризм. Шел себе из школы с портфельчиком мимо клубящейся очереди чающих пива и стал свидетелем (умиленным) конфликта… Какой-то жлоб (здоровенный) полез без очереди. Из очереди тут же выдвинулись два заступника неписаных законов. Были они худы и невелики ростом, но готовы к бою. Жлоб струхнул, но не до конца. Тогда один из выдвинувшихся грозно сказал: «Слушай, я ведь, вроде Гейне, чернилам предпочитаю кровь…»

Я чуть портфельчик не выронил на снег. Ничего себе формулировочка. Много позже я узнал источник. «Стихи, написанные кровью, я предпочитаю стихам, написанным чернилами» – этот афоризм приписывают Ницше. Ницше действительно его много раз цитировал, порой без указания авторства, поскольку любимый поэт Фридриха Ницше – всё же классика и странно было бы русскому писателю (скажем), цитируя: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», в скобках уточнять: «А. Пушкин».

Худой заступник неписаного закона очереди был абсолютно прав. Это афоризм Генриха Гейне. Еще позже я узнал, что на Бородинке соседствовали Валентин Пикуль и Виктор Конецкий и частенько выходили к пивному ларьку. Вот как-то есть у меня такое желание, такая ретромечта: тот самый мужик, что так лихо гейне-ницшевской цитатой осадил агрессивного хама, был Виктор Конецкий.

Словом, вот так я двигался, да вот и сейчас двигаюсь по Фонтанке-реке, цепляясь за разное памятью, воспоминаниями, сознанием с подсознанием. Большой желтый дом с белыми колоннами, полукружьем окруживший кусок набережной. Здесь были казармы Московского полка. Отсюда и по Гороховой вывел полк на Сенатскую Щепин-Ростовский. «Кивера да ментики», «как славно мы умрем сегодня», а впрочем, кивера да ментики – кавалерийское снаряжение… А «славно мы умрем сегодня» – в тему, в тему последнего неудавшегося дворцового гвардейского переворота, ставшего первой неудавшейся революцией.

Кстати, у Николая был, был шанс не превращать неудавшийся дворцовый переворот в неудавшуюся революцию. Этот шанс был подсказан ему его матерью, вдовой Павла Первого. Она предлагала провести сдвоенный процесс: над цареубийцами удачливыми, над теми, кто убил ее мужа и отца Николая, и над цареубийцами неудачливыми, теми, кого очень скоро назовут декабристами. Понятно, что в этом случае приговор был бы не слишком строг, но России было

бы продемонстрировано: эпоха преторианских переворотов миновала! Наступает эра легитимности!

Николай выбрал иной путь. Заложил, можно сказать, основы традиции революции в России. Революция это ведь особый вид войны. Лучше всего об особенностях этой войны сказала русско-немецко-польская революционерка Роза Люксембург, забитая насмерть прикладами и сапогами немецкой белогвардейской сволочью: «Революция – единственный вид войны, где победа приходит после целого ряда сокрушительных поражений». Должно быть, вспомнила евангельскую притчу о зерне. «Истинно, истинно говорю вам: то зерно, что упадет на землю и умрет, принесет урожай сторицей». О поражении революционеров, об их гибели, приводящей в конечном итоге к победе революции, думали многие революционеры в XX веке.

Впрочем, в одном Роза Люксембург ошиблась. Революция далеко не единственный вид войны, в котором победа приходит после целого ряда катастрофических поражений. Есть еще один вид войны. Война тотальная, всенародная, в которой начинает воевать всё население. Вот кто-кто, а автор самой знаменитой и самой циничной шутки о декабристах Федор Растопчин, бывший московский генерал-губернатор, прозванный Екатериной Второй «бешеным Федькой», в этом разбирался. «Во Франции сапожники и мастеровые устраивали революцию, чтобы стать дворянами. У нас устраивают революцию дворяне, чтобы стать сапожниками и мастеровыми?» Ну, это, положим, «бешеный Федька» несколько передергивал… Мало ли было дворян среди якобинцев? И каких дворян! Один Филипп Орлеанский, Филипп Эгалитэ (Равенство) чего стоит!

Но что-то такое плодотворное в циничном афоризме Ростопчина было. Что-то было подмечено верное в соотношении, во взаимосвязи революции и контрреволюции. Снизу – вверх, сверху – вниз. Качели. Сам Растопчин, накануне войны 1812 года писавший императору панические письма (он вообще был паникер, «бешеный Федька»): «В нашем податном сословии гораздо больше маратов и эберов, чем мининых» – разве не воспользовался пропагандистским опытом революционера Эбера, руководителя крайне левого крыла якобинцев под названием… «бешеные», когда печатал свои знаменитые афишки. «Отец Дюшен» – газета гражданина Эбера – явный образец для пропагандистского вдохновения графа Растопчина. А его суперреволюционный акт накануне сдачи Москвы Наполеону? Выпустить из тюрем всех колодников, пусть побегают по безвластному городу (русские войска вы шли, а французские не вошли), пусть

хлебнут волюшки…

Ребята хлебнули волюшки. Москва (как известно) вспыхнула, как свечка. А то бы она не вспыхнула, когда в город выпускают… уголовников. «Братва! Воля!» Клио, муза истории, усмехнулась над Растопчиным. Ее месть была изощренна и изящна. Не без интеллектуального садизма была месть. Клио – дама с садистскими склонностями. Дочь русского ксенофоба, французоеда и националиста, графа Ростопчина, стала… известной французской детской писательницей, мадам де Сегюр. Ее бестселлер «Сонины проказы» переиздается и читается до сих пор. Свидетельствую: еду в автобусе «Канн-сюр-Мер – Ницца», рядом сидит очаровательная маленькая француженка и вовсю читает какую-то пеструю хрень, обильно иллюстрированную. Закрывает обложку, и что я вижу? Мадам де Сегюр «Сонины проказы». Но это бы ладно. Дело в том, что у мадам де Сегюр был еще один бестселлер, тоже для детей. Назывался «Генерал Дуракин».

Друг детства

Однако далеконько меня унесло от дома, желто-белым полукружьем, изящной величавой дугой окружившего кусок набережной. В этом доме жил лучший друг моего позднего детства, то бишь отрочества. Мой первый… учитель. Как-то так получалось, что я выбирал в друзей людей умнее меня; тех, у кого я мог поучиться; тех, с кем я мог бы и помолчать, чтобы послушать. У Паши Литвинова было чему поучиться. Он фехтовал. Рисовал. Увлекался рок-музыкой. Сам играл на гитаре и на ударных.

Он жил с пожилыми мамой и отцом в коммуналке, в огромной круглой комнате. Паша уверял, что в этой комнате бывал Пушкин. Не знаю, правда или нет, но он так говорил и я ему верил, потому что я верю друзьям. На стене в комнате висела фотография мамы в офицерском мундире с орденом. Папу Пашиного я помню плохо, а маму – хорошо. Она была худенькая, скромная, с красивым лицом интеллигентной пожилой женщины. На фотографии была красавица. Лихая красавица. Эмилия Платтер.

Почему Эмилия Платтер, героиня польского восстания 1830 года? Потому что Пашина мама была дочкой польского шляхтича и русского коммуниста, арестованного на глазах дочери в 1938 году. Дочь пошла на фронт. Воевала. Дослужилась до капитана. Умерла она, когда Паша был в 10-м классе. Умерла

дома. На глазах у сына и мужа. Приехала «Скорая»… Всё такое, всё такое… Когда стало ясно, что надежды нет, она попросила мужа, чтобы достал из ее письменного стола… фотографию Сталина. Он достал. Она взяла ее в руки и с ней умерла. Сказала Паше: «Ты не понимаешь…», хотя он ей ничего не сказал. Ничего.

Потом, через неделю, что ли, Паша мне всё это рассказал. И добавил: «Я не понимаю. Я в самом деле не понимаю. Мама мне рассказывала, как арестовывали деда. Энкавэдэшник снял со стены герб его рода и шарахнул об стенку. И герб раскололся. Я не понимаю…» Трудно понять, конечно… Но в принципе можно. В принципе. Неплохо объяснил этот феномен Гефтер. Сталин умело создавал такие безвыходные ситуации, выходом из которых был… он. Жесточайшая коллективизация, безжалостное раскулачивание – и бац! Статья «Головокружение от успехов», а перегибщиков – по бошкам. Перегибщики чешут потылицы: «Так мы же выполняли директиву…» Они-то выполняли, а он – спаситель…

На эмоциональном уровне этот феномен блестяще описал Борис Слуцкий. Помните: «Генерала легко понять, если к Сталину он привязан…»? Не помните? Ну, я кое-что из этого великого стихотворения процитирую:

Но зато на своем горбу

Все четыре военных года

Он тащил в любую погоду

И страны и народа судьбу.

С двуединым известным кличем.

А из Родины – Сталина вычтя,

Можно вылететь. Даже в трубу!

Я тогда ни этого стихотворения, ни рассуждений Гефтера не знал, поэтому промолчал, но зарубку в памяти оставил. Впрочем, я, как правило, молчал и слушал. Паша учил. Он не знал, что он учит. Просто рассказывал, что ему было интересно. И мне становилось интересно. Я однажды увидел нарисованный им натюрморт и восхитился: «Как здорово!» Паша поморщился: «Дерьмо. Для комиссии. Вот как надо рисовать» – и показал тот же горшок, нарисованный в

кубистической манере.

Я выпучил глаза. Паша возмутился: «Слушай, знаешь, как Кандинский говорил? Вот Вы требуете, чтобы я нарисовал горшок, в точности такой же, „как в жизни“. А зачем Вам этот горшок, Вы что, похлебку из него будете есть? Искусство не занимается воспроизводством горшков и мопсов. Задачи у искусства другие…»

Паша стал объяснять что-то о линиях, точках и объемах, но я ничегошеньки не понял. Однако правоту Паши и Кандинского почувствовал. Тогда же Паша рассказал мне про Сурикова и Пикассо. Оказывается, в Москве до революции была выставка, на которой были и работы Пикассо. Суриков был на этой выставке. Очень долго разглядывал работы испанца. Подошла какая-то дама и принялась ругмя ругать Пикассо. Мол, чушь какая-то, ничего не понять. И это живопись? Мазилка бездарная… Ну и прочее.

Почему-то из всех авангардистов Пикассо вызывает наибольшее раздражение. Нигде так не ругаются, как на выставках Пикассо. Суриков слушал, слушал, потом тяжело вздохнул, повернулся к даме и вежливо объяснил, что она ошибается. Ему, как художнику, очень интересно это смотреть. Он не принимает это искусство, но, видите ли, сударыня, когда он (Суриков) работает, он, прежде чем нарисовать картину, строит вот такие же, если угодно, чертежи, такие анатомические атласы будущей картины. Вам неинтересно? Ну так отойдите и не мешайте тому, кому интересно… Дама отползла.

Таких историй Паша рассказывал массу. И в Эрмитаж мы с ним ходили. Он не слишком жаловал импрессионистов. Ему нравились скучные для меня Энгр, Лоррен, Пуссен. И уже через импрессионистов – Пикассо, Дерен, Вламинк. Импрессионисты были для него слишком… буржуазны. Такой парадокс. Много позже в Орсе я увидел картину какого-то художника (забыл и имя живописца, и название его картины) и понял, что Паша что-то верное почувствовал в веселом, пестром, разноцветном мире Моне и Писсарро.

В общем, на первом плане этой картины – разгромленная баррикада коммунаров, груда трупов, а на заднем плане – абсолютно импрессионистический сверкающий городской весенний пейзаж. И на стене лихая афишка: «Ша нуар» – «Черная кошка».

После школы мы как-то разошлись с Пашей: он пошел на геологический, я – на исторический. Потом я загремел в армию. Паша остался в Ленинграде. Потом работал в «АукцЫоне» перкуссионистом. Лет десять тому назад умер.

Ну, вот и долг отдался первому другу. А может, и не отдался долг-то. Знаете, есть один очень мудрый рассказ у Михаила Веллера про то, как человеку посчастливилось, и он отдал все свои долги. Вышел на улицу, свободный и счастливый, случайно глянул в витринное зеркало и ужаснулся. Отражения – нет. Он исчез. Пока мы живы, мы всегда кому-то должны. Мы не можем выплатить все свои долги, пока мы живы.

Анабасис. Дача Державина, эпифания, Коломна и архитектор Мосс

Постараемся не уходить далеко от набережной. Вот так я двигался вдоль по речке. Проходил мимо зарытого канала у Военно-медицинской академии, топал дальше и дальше. Иногда выходил на мосты и смотрел на купол Троицкого собора. Тогда еще рядом с ним не построили тупо-прямоугольное здание гостиницы. Купол был одинок и очень красив. Квадрат гостиницы, что ни говори, подпортил пейзаж. Хотя – оксюморон, оксюморон, господа. «Розу черную с белой жабой я хотел на земле повенчать», если не ошибаюсь. Уродство тупого прямоугольника только подчеркивает величавую округлость купола. Почувствуйте, так сказать, разницу.

Проходил мимо дачи Державина. Тогда еще не было музея, и о том, что это огромное белоколонное строение, этот дворец – дача великого поэта, тамбовского, олонецкого губернатора, первого министра юстиции России и участника подавления пугачевского восстания, сообщала древняя мемориальная доска с ятями и твердыми знаками. Помнится, я, когда первый раз увидел эту мемориальную доску, был тронут. Буквально тронут, поскольку меня тронуло, торкнуло расширение города. Вот здесь в начале XIX века были… дачи. То есть лес был, волки, кабаны, лоси… Грибы, ягоды. А теперь самый центр города.

Как-то это всегда трогает. У немцев для истории есть слово Geschichte от geschehen – произойти. История – произошедшее. Но штука в том, что по-немецки Schichte – слой. Значит, немец слышит в своем слове «история» не только то, что нечто произошло, но и то, что это нечто – слоисто. И это очень верно. История – слоиста. Один слой вдавливается в другой, остается отпечатком, порой исчезающим сразу, порой остающимся надолго… Когда

ощущаешь вживе слой истории, что-то торкает… меня, по крайней мере.

А некоторое время спустя после дачи Державина меня торкнуло по-настоящему. Я даже вздрогнул. Джеймс Джойс называл такие миги эпифаниями. Богоявлениями, если перевести на русский с греческого. Вот ты идешь, идешь или сидишь, сидишь, и всё тебе мерзит, или всё тебе (как поет Сергей Шнуров) по пенису и до фаллоса, и вдруг тебе становится очень хорошо, очень светло, едва ли не счастливо. Нет, нет, это не то, что некоторые из вас подумали. Никакой химии. Если химия, то это приход называется, а не эпифания. Такую эпифанию описал Сартр в финале своего первого и очень скучного романа «Тошнота». Антуан Рокантен сидит в кафе, всё ему обрыдло, от всего его тошнит (собственно, тому роман и посвящен, как всё обрыдло и как от всего тошнит, потому и читать его скучно), владелец кафе ставит пластинку с записью Эллы Фицджеральд. Рокантен слышит негритянскую певицу, и всю обрыдлость, всю тошноту как рукой снимает.

Мне было тогда, когда я знай себе шел по набережной от дачи Державина, совсем не обрыдло и совсем не тошно. Маленький я еще был. Не дорос до рокантеновской тошноты. Мне было обычно. А стало необычно. Потому что я увидел слияние Крюкова канала и Фонтанки, а чуть поодаль вдоль по Крюкову я увидел колокольню Никольского собора, построенную Саввой Чевакинским. Она была синяя, тонкая, изящная. Мушкетерская какая-то. Она была будто выпад в небо шпаги, вот какая она была. Я стоял и смотрел на нее. Ей-ей, я завидую тем, кто первый раз ее увидит. Не специально пойдет смотреть архитектурные достопримечательности, а вот просто по делу или без дела побредет по набережной Фонтанки, равнодушно скользя взглядом по ровным рядам домов, и – бац – как глаза промыл.

Это все равно как идешь по третьему этажу Эрмитажа мимо художников Франции XIX века. Смотришь, позевываешь; нет, если увидишь «Мертвую лошадь» министра культуры Парижской коммуны, Гюстава Курбе, то содрогнешься, конечно. Гений, что скажешь. Но ее еще увидеть надо. Она хоть и монументальная, но маленькая. И мрачная. Безысходная. Отчаянная. И вдруг после зализанных картин, среди которых мрачным всполохом маленькая великая картина, – праздник. Праздник цвета, света, жизни, сияние. Импрессионисты. Потом, разумеется, праздник кончается и начинается высокая трагедия Ван Гога, изломанность Пикассо, но сначала – праздник.

Вот и эта колокольня Чевакинского – празднична. Тогда я свернул от маршрута – к морю – и пошел себе бродить по Коломне, где жил пушкинский Евгений, где умирал Суворов, перед смертью успевший шепнуть своему племяннику, знаменитому графоману Дмитрию Хвостову: «Митя, не пиши…» А чем плох Хвостов? Велимир Хлебников его очень ценил. Ставил на одну доску с Пушкиным. И то: две строчки из поэмы Хвостова, посвященной петербургскому наводнению, чем не Хлебников, чем не ранний Заболоцкий? «По брегам там лежало много крав, ноги к небу вздрав». ВАУ!

Коломна мне тогда понравилась. И Новая Голландия, тогда еще не реконструируемая, а лежащая в романтическом запустении. Этот район на многих производил впечатление (употребим канцелярит). Помните, приезжал к нам американский архитектор, Мосс, строить новое здание Мариинки. На него тогда все накинулись, проект его задробили. В результате вместо брутальной, резкой, оригинальной архитектуры получили сараюшку с колонночками. Ну да бог с ним.

Мосс был в полном восторге от Коломны. Он говорил, что нигде такого не видел. В центре города упал кусок чуть ли не деревни. Новая Голландия его восхитила. Он поэтичная натура, этот Мосс. Его спросили: что главное в Петербурге? Он ответил: лед, камень, вода. Его спросили: самые замечательные строения в Петербурге?

Он ответил: много замечательных, много, все не перечислишь, но есть два абсолютных шедевра. Это шпиль Петропавловки и… камень под копытами Медного всадника. А ведь разбирался постмодернист в искусстве. Глядишь, и построил бы что-то пусть и необычное, но… хорошее.

Сердце на кончике пальца

В общем, в тот день я не дошел до моря. Коломна с часовней Чевакинского, Новая Голландия и особняк Бобринских прервали мой анабасис. Но я и в следующие дни не мог выйти к морю. Как бы я ни кружил по рекам и каналам, в какой-то момент я упирался в промзоны. Выход к морю был закрыт, перекрыт, перегорожен. И тогда я коснулся… тайны Петербурга. Его единственности. Его уникальности. И неповторимости.

Сейчас я открою вам эту тайну. Вспомните все морские города. Самые разные. Южные, северные, дальневосточные. Буде это города-трудяги вроде Мурманска, Марселя, Владивостока, буде это города-курорты вроде Ниццы, Ялты, Сухуми или города-музеи вроде Венеции – они все лицом развернуты к морю. Море не на окраине этих городов, а в самом их центре. Эти города влекутся к морю, особенно если они на горах, как Мурманск, Ялта или Ницца, становится видно, что все дома и улицы этих городов, как отары овец к водопою, теснятся, спускаются к морю.

Петербург – единственный морской город, отстраняющийся от моря, отгораживающийся от него. Центр города – гигантская река, похожая на быстроходное озеро, вокруг которой центр. Море – на окраинах. Добраться до него в принципе можно, но это отнюдь не центр города, а его периферия, буде это курортное ЦПКиО или деловая Гавань. Этот топографический факт находит свое подтверждение в культуре нашего города. Вы можете вспомнить хоть одного петербургского… моряка?

Классический герой петербургской прозы – психованный, часто деклассированный интеллигент. Морская тема в русской литературе – Станюкович и Грин, но это – юг, не Балтика, не Петербург. Единственное исключение – дивная приключенческая повесть Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин», но она слишком экстравагантна и погоды не делает. Авантюрный рассказ о том, как во время короткого союза с Бонапартом английские каперы захватили русское судно, а лихой капитан Никитин их обманул, запер в трюмах и привел судно в Кронштадт, уж очень острым особняком торчит во всем корпусе текстов про Петербург.

Когда море вторгается в русскую петербургскую литературу? Когда и как оно появляется? Правильно. В самом знаменитом знаковом петербургском тексте, в «Медном всаднике» Пушкина. Море – убийца. Море – угроза. Море – опасная, страшная стихия, с которой «царям не совладать». Весьма символично, не так ли? Что такое Петербург – морской город? Петровское наследие. А что делала Россия после Петра? Отпихивалась, отталкивалась от петровского наследия… Где были резиденции русских царей? Царское село, Гатчина – отнюдь не прибрежные селения. Петергоф? Но и там (даже там) царская резиденция была вдали от моря, в Знаменке.

Здесь хорошо бы понять, почему Петр перенес столицу в Петербург. Дени Дидро, восхищавшийся Петром, удивлялся выбору места для новой столицы. Главный

город государства не в центре страны, а вблизи от других государств, – рассуждал Дидро, – странно, очень странно. Это всё равно как если бы сердце было расположено на кончике пальца. Все же француз. Какая точная метафора! И как она попадает в суть Петербурга – «сердце на кончике пальца»! Это лучше, чем достоевское «самый умышленный город». Вернее.

Всё верно в рассуждениях Дидро, за исключением одной детали. Петр строил не просто столицу, но военную ставку, из которой в случае крайней необходимости можно будет с легкостью… эвакуироваться. В детстве он видел русский бунт, бессмысленный и беспощадный. На его глазах резали его ближайших родственников. Такое не забывается. Он и не забыл. Помнил. Таща Рассеюшку в Европу, он всегда держал в голове вот этот вариант, вот этот случай. Вот на этот вариант, на этот случай у него и был припасен… Петербург. Столица-ставка. Если бы этого варианта он бы не обмозговывал, он никогда бы не сказал: «Я предпочел бы стать в Англии капитаном, чем в России – царем…» Можно себе представить такую гипотетическую картинку: по берегу носятся мужики с ружьями, дрекольем, топорами и прочим боевым снаряжением, а вдали набирает скорость корабль под белыми (допустим) парусами. «Убёг! Ушел анчутка треклятый! Анчихрист! Ужо тебе!»

Улыбка Клио

Мне могут возразить по поводу отсутствия морской темы в петербургской теме русской литературы. А как же «Балтийского флота первой статьи минёр Гулявин Василий – и ничего больше. Скулы каменные торчат желваками, и глаза карие с дерзиной. На затылке двумя хвостами бьются черные ленты, и спереди через лоб золотом: „Петропавловск“. Грудь волосами в вырез голландки, и над ней в мирное еще время заезжим японцем наколоты красной и синей тушью две обезьянки, в позе такой – не для дамского деликатного обозрения». А как же «Ветер» Бориса Лавренёва?

Кстати, если внимательно прочесть эту повесть, то можно заметить, что садист, наркоман и алкоголик Василий Гулявин вырабатывается в честного, отважного, да и доброго воина и человека не столько под влиянием большевистских агитаторов, сколько под влиянием своего военспеца, бывшего царского офицера с говорящей фамилией Строев… Тогда становится понятно, почему именно Лавренёву принес свои первые прозаические и поэтические опыты юный Александр Солженицын.

Возражения множатся. А Виктор Конецкий? Самый замечательный маринист русской литературы и один из лучших описателей Ленинграда. А Вадим Шефнер? Все правильно. Но это другая литература, другая история, в чем-то другой город. Весь петербургский период истории России страна отстранялась от петровского наследия, старалась его оттолкнуть. От моря страна отпихивалась в особенности. Инстинктом социальным, историческим (?) – не знаю, как его назвать – чуя, чувствуя: с моря придет катастрофа.

Инстинкт был правильный. Именно с моря грянуло. Когда в Петроград рванули «минеры первой статьи – и ничего больше», наступил конец петербургского периода истории России. «Нет Петербурга. Есть город осеннего ветра», – как написано всё в том же «Ветре» Лавренёва. Улыбка Клио, музы истории, всегда злорадна. Повторюсь, Клио – дама с садистскими наклонностями. Парадокс состоял в том, что, инстинктивно отстраняясь от моря, Россия вооружала и снаряжала мощнейший военно-морской флот. Перед Первой мировой был принят запредельный военно-морской бюджет. Против него в Думе возражали левые, от кадетов до эсдеков. Вне Думы против него возражал один крайне правый, Михаил Меншиков.

У бывшего морского офицера Меншикова соображения были прагматические. Он прекрасно понимал, сколько будет попилено из этого бюджета. У левых соображения были другого порядка. Лучше всех эти соображения изложил кадет Андрей Иванович Шингарёв («закланец русской истории» – так его назвал Александр Солженицын). Он призывал и взывал к Думе. Мол, господа, одумайтесь! В наших армии и флоте смертность (в процентном отношении) больше, чем в любых армиях и флотах мира. Подумайте, нам надо вкладывать бюджетные средства в здравоохранение, в образование, но не в армию и флот, которые и без того огромны. Не очень грамотному, не очень здоровому, очень озлобленному человеку вы даете в руки суперсовременное оружие. Вы понимаете, какой социальный взрыв вы провоцируете?

Андрея Шингарёва убили в январе 1918 года в Мариинской больнице. Убили матросы. Был ли это «стихийный гнев народных масс» против земского врача, автора книжки «Вымирающая деревня», или большевистская спланированная провокация – до сих пор неизвестно. Я склоняюсь к тому, что это был «стихийный гнев». В противном случае для чего тогда Бонч-Бруевич ходил после… инцидента на матросский митинг урезонивать «альбатросов», «василиев гулявиных»? Дескать, ребята, ну вы уж совсем… через край… Всё-таки так резко не надо, не надо бы. Ребята лупили в пол прикладами и весело орали: «Надо

будет – и Ленина с Троцким кокнём».

Полагаю, что после вот таких… волеизъявлений Ленин понял, окончательно и бесповоротно: из бывшей военной ставки царя Петра надо линять. Как можно быстрее линять. Море хлынуло. Угроза осуществилась. И только после конца петербургского периода Балтийское море, море Ленинграда, море окраин столицы, теперь уже бывшей столицы, вошло в русскую культуру.

Анабасис. Гавань и Голодай

Вы же понимаете, что к морю я таки прорвался. Таки додумался. По Неве до Горного. На Большой проспект и до Гавани. Издали увидел. Дальше пошел бродить по окрестностям. Когда спустя год вся наша семья переехала на Наличную, я был изумлен такой рифмой судьбы. А тогда я потопал себе по Наличной мимо автобусного предприятия. Сейчас здесь огроменные, шикарные элитные дома. Когда я уже жил на Наличной, то узнал, что на месте этого автобусного предприятия во время Первой мировой войны был лагерь для пленных немцев.

Это мы так дергаемся теперь при слове «лагерь». Исторический опыт тому способствует. Первая мировая во многом была еще войной XIX века. До озверения Второй мировой дело еще не дошло, хотя всё к тому и шло. Томас Манн в своей шовинистической книжке времен Первой мировой войны «Рассуждения аполитичного» (действительно шовинистической и немало сделавшей для фашизации сознания немецкой интеллигенции) помещает восторженный отзыв о книге Ромена Роллана «Ярмарка на площади», вышедшей в Париже и сразу же переведенной на немецкий. Я подобного случая во времена Второй мировой не припомню. Да его и не могло быть, такого случая.

Так что стояли на этом месте казармы под не-шатким, не-валким охранением. Военнопленные днем бродили по окрестностям, искали приработок, вечером возвращались. Идиллия. В одном из лучших советских фильмов начала тридцатых, в «Окраине» Бориса Барнета эта идиллия показана очень убедительно. Пленный австрийский солдат там находит приработок у местного сапожника, а потом у них с дочерью этого сапожника начинается любовь. Хороший фильм. Человечный.

Вот я так брел и брел по Наличной вдоль моря и добрел до Острова декабристов, до Голодая. Перешел мост через Смоленку, тогда вполне себе деревенскую речку без намека на какую-нибудь набережную. По правую руку были кладбища: Академическое, Смоленское православное, Смоленское лютеранское, армянское. Прямо передо мной высилась шахта, строили станцию метро «Приморская». Тогда я еще не знал, что в эту шахту бросился замечательный поэт Ленинграда пятидесятых-шестидесятых годов, Александр Морев. Бродский, с которым Морев выступал на многочисленных в пору оттепели поэтических турнирах или турнирах поэтов, как-то сказал: «Я хотел бы остаться в поэзии хотя бы парой строчек, как Архилох. „Пью, опираясь на копье“, да?» Морев-то точно останется в русской поэзии, по крайней мере этими строчками: «Я хочу, чтоб разделся Бог, я хочу, чтобы Бог был наг…»

Тогда я всего этого не знал. Тогда я повернул налево и пошел по совсем, совсем деревенской речке Смоленке к морю. Я снова коснулся тайны Петербурга. Море здесь на задворках. Поэтичных, заброшенных, отдающих деревней. Я знал, что нахожусь на Голодае, что здесь был домик Параши, смытый наводнением, что где-то здесь жил дьявол, о чем и написал Владимир Титов со слов Пушкина в повести «Уединенный домик на Васильевском», что здесь были выброшены на городскую свалку тела пятерых казненных декабристов.

Вроде – легенда. Но я верил и верю в эту легенду. Я вышел к тогдашней гигантской свалке. Перед морем тогда простиралась поросшая кустарником свалка строительного мусора. Вот через эти-то кочки я и выбрался к морю. Теперь на месте этой свалки элитный район, и он… отсечен от моря. Теперь. Потому что строят эти, как их, Морские ворота города, и весь берег огорожен длиннющим голубым забором из листового железа. А тогда море было досягаемо. Оно было за свалкой строительного мусора, плоское и спокойное. Направо – ЦПКиО, прямо – Кронштадт, налево – Петергоф.

Я постоял, посмотрел на плоское северное море и пошел чуть вкось, осваивая район, в котором предстояло жить чуть не три десятилетия. Вышел прямым ходом к школе-интернату. После землетрясения в дагестанском городе Буйнакске 14 мая 1970 года в этой школе-интернате жили аварские, кумыкские, чеченские дети. Я узнал об этом совершенно случайно. Служил в армии, разговорился с парнем из Буйнакска. Он, как услышал, что я из Ленинграда с Наличной, так разулыбался вовсю и сказал: «Я тоже там жил! Зёма!» Ну и объяснил, как он попал в школу-интернат на Наличной улице.

Итак, я продолжал движение и остановился в сквере на пересечении Наличной и Кораблестроителей. В сквере стоял черный обелиск. У обелиска сидел старичок. Я подошел поближе. Обелиск был огорожен чугунной решеткой. Я открыл калитку, подошел поближе к обелиску и прочел надпись: «Пятерым казненным декабристам: Михаилу Бестужеву-Рюмину, Петру Каховскому, Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, от Василеостровского райкома ВКП(б). 1825–1925».

Василеостровский райком ВКП(б) образца 1925 года

Я многим показывал этот памятник. И все хихикали. Почему-то всех смешила надпись: «От Василеостровского райкома ВКП(б)». А я вот не рассмеялся. Во-первых, потому что я понял: в 1925 году в Василеостровском райкоме ВКП(б) работали люди, которые знали легенду или версию: пятеро казненных декабристов были выброшены на городскую свалку на острове Голодай. Значит, они не просто поставили памятник, они поставили… кенотаф. Надгробие над предполагаемой могилой. Во-вторых, уже тогда я знал, что такое Василеостровский райком ВКП(б) образца 1925 года… Уже тогда я знал, что у работников этого райкома было куда больше общего с декабристами, чем с современными мне разъетыми и наетыми партчиновниками. У этих много общего с царской жандармерией и бюрократией самого скверного пошиба.

Я так считал тогда. И сейчас так считаю. «По обстоятельствам вновь открывшегося дела» этот мой «счет» и «расчет» только усилились. Пожалуй, нужно пояснить, почему я, вполне себе советский интеллигентный подросток, тогда так считал. Советская идеология была удивительным явлением. Уникальным, единственным в своем роде. Вполне себе химерическим и кентаврическим. Потому-то ее распад так трагикомичен, нелеп и жуток. Будто смотришь хороший фильм ужасов. С одной стороны – страшно, с другой стороны – противно. Но есть еще и третья сторона, с этой стороны: смешно.

Советская идеология сложилась из двух пластинок. В принципе – несовместимых. Скрепляла эти пластинки кровь и память великой войны. Только она. Первая пластинка – это коммунистическая, интернационалистская вера. Та, в которой естественно звучат строчки Маяковского: «Это – чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем», Кульчицкого: «Только советская нация будет, только советской нации люди», слова Ленина на VIII съезде партии: «Патриотизм для нас, коммунистов, вопрос

третьестепенный», слова Волгина из последнего романа Чернышевского «Пролог»: «Нация рабов. Все рабы, сверху донизу все – рабы»…

Вторая пластинка была – русский патриотизм:

И пусть я покажусь им узким

И их всесветность оскорблю,

Я – патриот. Я воздух русский,

Я землю русскую люблю…

…

Я б сдох как пес от ностальгии

В любом кокосовом раю.

Павел Коган

Каким образом соединялись эти взаимоисключающие «пластинки», отлично объяснил всё тот же Павел Коган, один из самых умных поэтов России: «Им, людям родины единой, едва ли им дано понять, какая иногда рутина вела нас жить и умирать…» Русский патриотизм как детонатор мировой революции, что ни говори, – парадоксальнейшая картина.

Но та партия, что взяла власть в России в октябре 1917 года, была поначалу партией… парадоксалистов. В противном случае разве написал бы один из ее руководителей, Ленин, в 1908 году статью «О черносотенстве», начинающуюся словами «В нашем черносотенстве есть одна… чрезвычайно важная черта… – темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий» и заканчивающуюся рассуждением о том, что во время грядущего социального взрыва именно дремучие, архаичные слои населения станут стихийными союзниками самой передовой и самой революционной партии России.

На уровне рефлексии вся эта, что ни говори, сложная и шаткая конструкция держалась с трудом. На уровне эмоций человек, оказывающийся в этой конструкции, волей-неволей принимал одну из «пластинок» за основу, а с другой мирился как с неизбежным злом. Здесь уже начинались круг чтения, традиции семьи und so weiter, et cetera. Любимой книжкой детства у меня был «Девяносто

третий год» Виктора Гюго, любимым чтением отрочества «Люди. Годы. Жизнь» Ильи Эренбурга и протоколы партсъездов с третьего по четырнадцатый, изданные при Хрущеве.

Оттепель была началом разложения на составляющие части советской идеологии. Кто хватался за Булгакова и Бунина, а кто – за протоколы партсъездов и смотрел на противоположную сторону с удивленным недоумением: вот ведь как загадили сознание пропагандой… Помню, как я покупал в букинистическом магазине «Русскую историю в самом сжатом очерке» Михаила Покровского, человек чуть постарше меня (и побогаче) покупал гимназический курс истории Иловайского. Оба мы (у кассы), расплачиваясь, именно так (с покачиванием голов) друг на друга посмотрели. Даже спорить не стали. Просто разошлись в разные стороны.

Всякий, кто читал протоколы до-сталинских съездов, прекрасно понимал, что Василеостровский райком ВКП(б) образца 1925 года был очень близок к декабристам. Не только потому, что и те, и другие были революционерами. Но и потому, что и те, и другие были революционерами, обреченными на поражение. Причем на такое поражение, в ходе которого и те, и другие (по большей части) будут… сознаваться. Каяться. За редкими, но почетными исключениями.

Василеостровский райком ВКП(б) образца 1925 года был в той городской организации коммунистов, что смогла организовать первое и последнее массовое (подчеркнем) массовое сопротивление сталинизму, с митингами, с демонстрациями, с организацией подпольных типографий, с поддержкой и рабочего класса, и молодежи. Это была так называемая «ленинградская оппозиция», или «троцкистско-зиновьевская». Участником этой оппозиции был Варлам Шаламов. Его арестовали как раз таки в подпольной типографии, печатавшей «Завещание Ленина».

Про нее пишут, что это были враги нэпа и сторонники наступления на частный сектор в экономике советской России. Это – так и не так. Если бы это было так, то в число оппозиционеров не вошел бы нарком финансов России, проведший весьма удачную финансовую реформу, Григорий Сокольников. Главным пунктом разногласий «ленинградцев» и «москвичей» была… партийная демократия, растущая власть бюрократического аппарата и лично товарища Сталина. Поэтому оппозиционеры распространяли письмо Ленина с предложением сместить товарища Сталина с поста генсека, поэтому именно за это «Завещание Ленина» клепали срока… сразу и мощно.

Нам это кажется странным. Письмо опубликовали после XX съезда, и шума оно не произвело. Собственно, этот персональный, личностный упор давал возможность Сталину обвинять «ленинградскую оппозицию» в не-марксизме, в беспринципности. Мол, выходит, вы, товарищи, только об одном талдычите: долой Сталина! Не по-марксистски это, товарищи, нет, не по-марксистски. Собственно, по таковой же причине некоторое число оппозиционеров в начале тридцатых годов покаялись и вернулись в партию.

Сталин осуществил экономическую программу Троцкого: насильственная коллективизация, все силы на развитие тяжелой индустрии, полный разгром частного сектора – история идет своим путем. Ей все равно, чьими руками будет осуществляться ее ход. Остались самые упертые, самые упрямые… Те, которые возразить на марксистский тезис о безразличии истории к тем, кто осуществляет ее ход, не могли, но темным чувством… революционеров понимали: что-то здесь не так в этом… ходе истории. Какой-то тут сбой… часового механизма. Умирающие от голода крестьяне на улицах городов; рабочие, которым заткнут рот; забытый партмаксимум; ритуальные собрания; откровенная ложь в газетах; бесстыжее славословие вождей, то есть уже одного вождя… Нет, нет, что-то здесь не так…

Этих оппозиционеров было не много, но и не мало. С 1928 года они (по сути) не выходили на свободу. Именно они пытались организовать лагерное сопротивление, первое лагерное сопротивление сталинской карательной машине. Именно их уничтожили первыми в 1937 году. Солженицын не великий (мягко говоря) поклонник троцкистов. Но вы почитайте соответствующие страницы «Архипелага ГУЛАГа», посвященные отчаянному и безнадежному сопротивлению последних революционеров. Солженицын не может скрыть уважения к этим людям. «Смерть надвигалась на них в белых маскхалатах…»

Я довольно долго стоял у монумента пятерым казненным декабристам. Потом вышел за чугунную ограду. Я подумал тогда про еще одну аналогию, связывающую декабристов и Василеостровский райком ВКП(б) образца 1925 года. Как именно тогда я подумал, сказать не могу, посему скажу сейчас, учитывая те факты, которые стали известны мне много позже. Кто составлял костяк «ленинградской оппозиции»?

«Старые» коммунисты (условно говоря, «старые»), те, что выиграли Гражданскую войну. Здесь два момента.

Первый: эти люди знали – они выиграли. Не бог, не царь и не герой. Не Сталин, не Ленин, не Троцкий, не Зиновьев – они. Без них не было бы победы. Второй: эти люди были готовы к смерти, к катастрофическому поражению. Они прекрасно знали: их победа – чудо, удача, везение, фарт. По всем марксистским канонам (а они были марксистами) они должны были проиграть, но их поражение (как поражение Парижской коммуны) должно было сдетонировать во всем мире.

Их руководитель, Троцкий, ясно сказал об этом на похоронах своего друга, Адольфа Абрамовича Иоффе: «Тому, кто не готов войти в историю со скорбным знаком Робеспьера, с нами не по пути…» К этим «старым» коммунистам подверстывалась молодежь, одушевленная теми же мыслями и эмоциями. Что нужно сделать? Сталин придумывает гениальный ход. Он (в 1924 году) широко распахивает двери партии. Ленинский призыв! Надо растворить фанатиков революции в массе лично преданных вождю… да, карьеристов.

Они совсем не намерены погибать. Они намерены жить, и хорошо жить. Они совсем даже не победили в Гражданской войне. По большей части они эту Гражданскую войну переждали, а кое-кто из них сражался по другую сторону фронта. В ленинский призыв, например, в ВКП(б) вступил бывший колчаковский офицер, Кошкин. Человек во многом замечательный. Он стал одним из создателей советской бухгалтерии. Ректором ФИНЭКа в Ленинграде. Во время войны оказался в Пятигорске, перешел на сторону немцев, вступил в НТС. Очень много писал о красном терроре. Это на его подсчеты жертв красного террора ссылается Солженицын. Ребят вроде Кошкина, готовых выжить, и выжить хорошо и любой ценой, Сталин набрал немало.

И добился своего. Растворил мятежную массу революционеров в массе… карьеристов, лично преданных вождю карьеристов. Но ведь это же в точности политика Николая Первого по отношению к дворянству после декабрьского восстания. Царь как будто услышал рассуждения Пушкина: «Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» – и широко распахнул ворота дворянства для всех законопослушных и хорошо работающих на государственных пажитях.

Кстати, не исключу, что и услышал. Рассуждение это из дневниковой записи беседы Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем. Почему бы младшему брату не поделиться со старшим братом такими вот интересными мыслями хорошего поэта? Почему бы эти мысли не принять на вооружение?

Примерно так я рассуждал о странной родственности декабристов и… Василеостровского райкома ВКП(б) образца 1925 года. Ход моих рассуждений был прерван старичком, тем, что сидел на скамеечке. Он поднялся, собрался уходить и заметил: «Любуетесь? Баскакова работа…» – «Кого?» Старичок, уходя, бросил: «Николая Павловича. Был такой Николай Павлович Баскаков…»

Баскаков

Так я впервые услышал фамилию человека, от которого не осталось ничего. Или почти ничего. Человека, чей портрет был разорван осенним ветром. Злорадствующие скажут: который такие, как он, и подняли. Я не возражу, но злорадствовать не буду. Не так воспитан. Я буду печалиться. Постепенно из обрывков, оставшихся, уцелевших, стал складываться портрет. Удивительный, надо признаться, портрет.

Вообще-то всякий, кто интересуется русским авангардом начала XX века, знает хоть что-то про Николая Баскакова. Да. Директор Дома печати. Да. Покровитель обэриутов, «Школы аналитического искусства» Павла Филонова, режиссера Игоря Терентьева. Да, это он посоветовал будущим обэриутам сменить название своего объединения в их Манифесте. В первоначальном названии было слово «левый». Баскаков отсоветовал молодым авангардистам так называться.

«Направленность в искусстве, – дипломатично заметил Баскаков, – следует определять словами собственного лексикона», – цитирует воспоминания последнего обэриута, Игоря Бахтерева, биограф Даниила Хармса, поэт Валерий Шубинский. Да. Это Баскаков предложил филоновцам расписать залы Дома печати своей аналитической живописью. Да. Это Баскаков предоставил сцену Дома печати для постановки «Екатерины Бам» Хармса и для самой авангардистской интерпретации гоголевского «Ревизора» режиссера Игоря Терентьева.

Финал «Ревизора» у Терентьева был абсолютно хулиганский, но… ей-ей, остроумный и вовсе не бессмысленный. «Прибывший по именному повелению…» – и входит… Хлестаков. Немая сцена. Вот это – настоящая немая сцена. Это одна сторона деятельности Баскакова. Если угодно, меценатская или культуртрегерская. И то сказать, чем может гордиться, да и гордится в искусстве XX века Россия и Ленинград в особенности? Чье творчество исследуют

во всем мире? Филонова, Хармса, Заболоцкого, Введенского. А кто протянул им руку помощи? Кто предоставил им сцену, помещение, официальное прикрытие? Николай Павлович Баскаков, директор Дома печати.

Предоставил он им всё это, будучи сам под ударом. Да еще под каким! Потому что есть и другая сторона деятельности Николая Павловича Баскакова 1896 года рождения, активного участника Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны. До 1927 года он был главным редактором «Ленинградской правды», главного рупора «ленинградской оппозиции». О Баскакове вспоминал историк Николай Полетика, автор одной из самых интересных книг о начале Первой мировой «Сараевское покушение». В семидесятых Полетика (украинский дворянин, да-да, из рода той самой Идалии Полетики, злого гения Пушкина, сплетницы и интриганки) эмигрировал… в Израиль.

В Израиле написал воспоминания. В них и появляется Баскаков. Из песни слова не выкинешь. Полетика приехал в Ленинград из Украины, устроился работать в «Ленинградскую правду». Побеседовал с главным редактором «маленького роста, энергичным человеком с голубыми, печальными глазами». Редактор поинтересовался, знает ли молодой сотрудник иностранные языки. Полетика ответил: да, английский, французский, немецкий. Прекрасно, отвечал Николай Павлович Баскаков, будете работать нашим собкором в Лондоне.

«Вы пошлете меня в Лондон?» – изумился Полетика. «Нет, – вздохнул Баскаков, – такой возможности у нас нет. Мы будем снабжать Вас иностранной прессой, насколько сможем оперативно, вы будете делать выжимки, понимаете? И публиковать, как наш собкор из Лондона…» Что Полетика и делал, насколько мог добросовестно. Больше Баскаков в его мемуарах не появляется.

Зато он появляется в других воспоминаниях. В мемуарах Виктора Сержа (Виктора Сергеевича Кибальчича), племянника Николая Кибальчича, народовольца, по чьим чертежам готовилась бомба, взорвавшая Александра II. Того самого Кибальчича, что чертил в камере смертников космическую ракету. Тотлебен, герой Севастопольской обороны, говорил: «Да я бы этого парня засадил бы в тюрьму на всю жизнь и приказал разрабатывать ракеты. Цены бы ему не было…» Провидец. Предсказал бериевские шарашки.

Виктор Серж был русско-французским революционером. В Петрограде с 1917 года. Один из организаторов Третьего Интернационала. Само собой, активный участник «ленинградской оппозиции». После разгрома оппозиции на XIV съезде

продолжил борьбу, как и Николай

Павлович Баскаков, вместе с которым он был арестован в феврале 1928 года.

В Доме печати Баскаков печатал антисталинские листовки, в том числе и «Завещание Ленина». «После неоднократных допросов (Баскаков) признал свое участие в подпольной антисоветской организации и принадлежности к руководящему центру. В то же время он заявил, что давать какие-либо показания по сути дела он не намерен, т. к. это дело не ГПУ, а партийной организации», – приводит отрывок из следственного дела Баскакова уже поминаемый мной Шубинский в биографии Даниила Хармса.

Потрясающий документ. Перед нами пусть и своеобразное, но совершенно безупречное правосознание. Есть государственные органы, в частности ОГПУ, а есть партийные. Наш спор с товарищем Сталиным – спор партийный. Пусть этим спором занимается партия, а не государство. Вот таких Сталину надо было выжигать каленым железом. Он и выжег. Сержа выцарапали из ссылки Эренбург и Андре Мальро в 1934 году. Одним из условий участия французских левых писателей в Первом антифашистском конгрессе было освобождение Виктора Сержа. Сталин это условие выполнил.

За Баскакова и многих других троцкистов просить было некому. Да они бы и не приняли ничьих просьб. Николай Баскаков сначала был сослан в сибирский город Камень, потом в Саратов. С ним переписывался Филонов. Сохранился отрывок из письма Баскакова Филонову. Баскаков там писал о важности «надстроечной» борьбы Филонова с фактически черносотенными, реакционными, псевдореалистическими направлениями в живописи. И добавлял, что не считает, будто то, что он (Баскаков) делал в Доме печати в качестве официального его директора, было чем-то несерьезным. Нет, это было очень и очень серьезно. Возможно, это-то и останется. Так ведь и осталось… В 1933 году Баскаков арестован, заключен в Верхнеуральский политизолятор. В 1936 году осужден ОСО к пяти годам лагерей на Колыме. Активный участник сопротивления заключенных в Севвостлаге. Расстрелян. Вот и всё, что известно о Николае Павловиче Баскакове. Неизвестно даже, каким образом он причастен к установке монумента на Голодае «Пятерым казненным декабристам от Василеостровского райкома ВКП(б)». Портрет разорван. Такая вот история моего анабасиса. Шел к морю в Петербурге – Петрограде – Ленинграде – Петербурге, а пришел к разорванному осенним ветром портрету одного из тех, кто поднял этот ветер. И нет (повторюсь) во мне злорадства. Есть (еще раз повторюсь) скорбь и

печаль.

Кронштадт

А кто был тот старик, что первым сказал мне про Николая Павловича Баскакова, я не знаю. Когда я переехал жить на Голодай, Остров Декабристов, я его больше не видел. Тоже какой-то осколок, обломок. В Ленинграде было полно таких осколков, чудом выживших, чудом уцелевших. Мне повезло, я таких знавал. Беседовал, например, с дочкой Андрея Ивановича Шингарёва, Еленой Андреевной, жившей на улице Рентгена в той же квартире, где жила вся ее семья. После революции семью «уплотнили». Когда я приходил к Елене Андреевне, она была квартуполномоченной большой коммуналки, как дочь бывших владельцев.

Это практиковалось. Если вы внимательно читали «Софью Петровну», то должны были обратить внимание на то, что Софья Петровна, во-первых, живет в бывшей своей, «уплотненной» квартире, а во-вторых, она квартуполномоченная. Любопытная практика, что ни говори. Я помню еще один осколок. Мою старую учительницу по немецкому языку. Когда стало ясно, что в немецком я ноль, если не минус единица, родители наняли мне репетиторшу. И я ходил к Кире Петровне на Салтыкова-Щедрина, ныне Кирочную.

Поначалу я Кире Петровне не нравился ленью, безалаберностью, забывчивостью и полной неспособностью к языкам. Но как-то потом она ко мне потеплела. Поднатаскала кое-как на Deutsche Sprache. Стала разговаривать о разном. Один раз дала почитать свою тетрадку, в которую аккуратным, ясным почерком был переписан Гумилев – и «Озеро Чад», и «Индюк», и «Капитаны», и стихотворение, которое я нигде больше не встречал, но Кира Петровна уверяла, что это его стихотворение: «Та страна, что могла бы быть раем, стала логовищем огня, мы четвертый день наступаем, мы не ели четыре дня».

В другой раз она дала мне почитать старую желтую немецкую коммунистическую газету, в которой был напечатан огромный очерк Карла Радека о Жорже Клемансо, «Der tote Tiger» – «Мертвый тигр». Радек был одним из руководителей «ленинградской оппозиции», потом сдался на милость Сталина. По-русски он писал не очень, но по-немецки – блистательно. До сих пор помню «пыльный бюст Робеспьера на книжном шкафу» Жоржа Клемансо, описанный Карлом Радеком. Шутил Радек по-русски хорошо: «Очень трудно

спорить с товарищем Сталиным: ты ему сноску, он тебе ссылку».

С Карлом Радеком ссылкой дело не обошлось. В 1937 его убили в тюремной камере уголовники. С Кирой Петровной мы беседовали о многом. Она родилась и до 1921 года жила в Кронштадте. Когда она потеплела ко мне, то стала вполне откровенна. Говорила, что Кронштадт пережил две трагедии: февраль 1917 года, когда матросы убивали всех, кто в офицерской форме, и март 1921-го, когда карательные отряды убивали просто всех или почти всех. Кира Петровна спаслась чудом. Она работала машинисткой в Кронштадтском совете. Была свидетельницей того митинга, на котором арестовали Михаила Калинина. Арестовали, а потом выпустили с требованиями: Советы без коммунистов, отмена продразверстки.

Кира Петровна довольно забавно рассказывала об этом митинге. Подружка заскочила в совет, говорит: «Чего ты тут киснешь? На площади Калинин говорит, побежали!» Побежали и прибежали уже тогда, когда площадь была запружена. Микрофонов не было, что говорит Калинин и что ему говорят, было не разобрать. Можно было разобрать только, что происходит что-то странное. Кира Петровна спросила у впереди стоящего: «Что происходит-то?» Впереди стоящий повернулся и спокойно объяснил: «Ничего особенного, барышня. Калинина арестовывают…»

В ответ на этот рассказ я заметил: «Так начался кронштадтский мятеж…» – «Какой мятеж? – возмутилась Кира Петровна. – Никакого мятежа не было…» – «Ну, восстание…» – «И восстания не было…» – «Как не было?» – изумился я. Кира Петровна даже голос понизила: «Какое восстание? Какой мятеж? У нас был флот. Были ледоколы. Были пушки. Если бы мы разбили лед вокруг Кронштадта, как бы нас штурмовали? По льдинам бы прыгали с винтовками, как, помните, в „Хижине дяди Тома“ беглая мулатка с младенцем…»

Я был потрясен таким объяснением. Во-первых, как это никому из исследователей кронштадтской… вооруженной демонстрации не пришла в голову такая простая мысль… В самом деле, разбить лед – и всё… Во-вторых, вот эти местоимения «мы», «у нас»… Кира Петровна воевала на Ораниенбаумском плацдарме. Попала в плен. Выжила. Преподавала в советских школах и институтах. Она была нормальной советской интеллигентной женщиной, но… по отношению к Кронштадту марта 1921 года у нее осталось «мы», «у нас». И никакого восстания у нас тогда не было.

Тогда я не понял. А сейчас понимаю. Я шел к морю и не мог дойти, а оно этим рассказом пришло ко мне само. Потому что как бы ни отгораживался Петербург – Петроград – Ленинград – Петербург от моря, оно здесь везде и плеснуть может откуда угодно. «И нет Петербурга. Есть город осеннего ветра».

Андрей Аствацатуров

«Едет маленький автобус…»

Михаилу Елизарову

Маршрутное такси

В Санкт-Петербурге, в самом европейском городе нашей необъятной российской империи, встречается удивительное разнообразие общественного транспорта. У нас есть все, что пожелается пассажиру, даже самому что ни на есть фантазийному и привередливому: тут и широченные автобусы, щедро размалеванные рекламой, и рогатые, как антилопы джейран, троллейбусы, и дребезжащие трамваи, и поезда метрополитена, ритмично постукивающие колесами, и нарядные такси с шашечка ми и лампочками. Весь этот автотранспорт, завезенный из соседних стран, смотрится на наших улицах шикарно, очень по-европейски и, главное, – вместительно.

Однако в семье, как говорят, не без урода, и среди заграничных средств пассажироперевозок случаются досадные исключения. Возьмем, к примеру, маршрутный автобус. В Петербурге он почему-то мал и неказист. Да вдобавок еще и тесен. Хочется спросить: как же так? Как такое возможно? Ведь мы не просто окраинный город. Мы – северная столица, «окно в Европу», Венеция… Нам это неправильно со всякой точки зрения. Особенно – с культурной. Неправильно, неприлично и невозможно.

Посудите сами… Вот залез ты, скажем, в маршрутку. И слово-то какое – «залез»! Слышите? В автобус, троллейбус, трамвай петербуржцы самым пристойным манером «заходят». Заходят, не задерживаясь, не препятствуя закрытию

дверей. («Следующая остановка, – объявляют вам по громкой связи, – „Гостиный Двор“».) В метро – «спускаются». («Граждане, соблюдайте чистоту и порядок на станциях и в вагонах метрополитена…») А в эту самую маршрутку именно что «залезают».

Так вот, залез ты в маршрутку, и сразу, с порога, с подножки – никакой тебе навстречу европейской благовоспитанности, никакой приватности, никаких гражданских прав, никакого уважения. Стоишь ли ты теперь, согнувшись по-холопски в три погибели, подпирая спиной потолок, сидишь ли, уткнувшись в телефон, или в книгу, или даже в телефонную книгу (кто у нас там?) – тебя обязательно со всех сторон будут толкать, пинать, задевать руками, одеждой, сумками, пакетами, всем, чем только случится. Тут, конечно, многое зависит от маршрута. Ежели ты утром из центра, а вечером – в центр – это еще куда ни шло. А ежели наоборот – что бывает чаще, – пеняй на себя. Но главное здесь даже не время суток, а другое время – Время Года.

Вы не замечали, что зимой пассажиров в транспорте как будто больше, чем весной, чем летом и чем осенью? А если не замечали, попробуйте зимой, в декабре, проехаться каким-нибудь маршрутом. Ну, хоть 4-м, от метро «Черная речка», через острова, сквозь Петроградскую и далее, миновав крепость, за реку, затем, огибая слева Марсово поле, по Садовой, к Невскому и дальше куда-то – я не знаю куда, – наверное, в Коломну, я всегда выхожу раньше.

Для начала хотя бы «залезьте» в эту самую маршрутку, и вы всё сразу поймете. Тесно, придавленно, узко так, что никак не разойтись с этим вот потертым мужчиной сорока лет или вот с этой сухопарой дамой, которая теперь застыла, согнувшись у входа, одной рукой шарит в сумке в поисках, наверное, кошелька, другой – держит за руку мальчика лет пяти-шести. Тут как в застенке: не повернуться, не встать во весь рост, не усесться поудобней, как следует, как привык дома. И, главное, создается впечатление, что полно народу. Хотя вроде бы половина мест свободна. Почему так?

Да все потому, что зимой мы занимаем куда больше места, чем весной и летом. Человек – особенно если он проживает в Питере – всегда старается занять больше места, чем ему положено. А зима со своей стороны всячески потворствует ему в этом начинании. Ведь именно благодаря зимней одежде мы делаемся объемнее, крупнее, толще, благодаря этим меховым шапкам, благодаря ботинкам и сапогам с каблуками, похожими на копытца, благодаря курткам, плотным пальто, пуховикам и шубам. Впрочем, шубы в маршрутках

появляются нечасто: их владельцы почему-то избегают сюда залезать и предпочитают пользоваться личным автотранспортом.

В самом деле, зимой мы кажемся как-то значительнее, существеннее, сущностнее. Нас легче заметить, разглядеть, отличить друг от друга. Летом пройдешь, бывает, по городу и куда ни кинешь взгляд – повсюду не люди, а черт знает что такое! Вот идет себе вроде толстый, а почему-то худой и тщедушный. Или этот высокий, широкий в плечах, но почему-то короткий и узкий. И задница вроде выпирает у него, и живот – а все равно и задница, и живот плоские, вровень с ногами. Тьфу! Тут и сплюнуть-то нечем… А зимой? Зимой – совсем другое дело! У него – и рост, и руки, и туловище, и весь обхват, и, наверное, душа с мыслями… Теперь он человек, который звучит гордо, громко и подолгу. Тут даже позволительно достать телефон и звучно в него заговорить. У нас в Петербурге все обычно так и делают. Вопреки мнению врачей, зима возвращает красному воспаленному петербургскому горлу зычный голос, а его хозяину – уверенность.

И вот с этим голосом, с этим прибавлением в теле, вытянувшиеся, как подростки после летнего отдыха, мы принуждены залезать в маршрутный автобус. В маленький, короткий маршрутный автобус, в три раза меньше супротив обычного. И куда только смотрит наше градоначальство? Решительно не понимаю…

Но раз уж мы сюда залезли, расплатились с кондуктором, пожилым носатым кавказцем с густыми усами, раз уж мы уселись и уже едем, то, наверное, можно расслабиться, оглядеться и сменить стиль рассказа.

Вовочка, убери язык!

Пассажиров немного. Мужчина с распаренным лицом, в грязноватой выцветшей куртке. Он сосредоточенно перелистывает многостраничную бесплатную газету, пестрящую предновогодней рекламой. Через проход сидят молодые люди в наглухо застегнутых зеленых пуховиках. Оба опустили головы и уткнулись в свои телефоны. Иногда перебрасываются короткими репликами. Судя по голосам, эти молодые люди разнополые, хотя кто из них девочка, а кто мальчик, определить трудно. Наверное, мальчик – вон тот, с железной козявкой в ухе. За ними устроилась сухопарая женщина в желтом пальто, на соседнем сиденье – ребенок.

– Вовочка, убери язык! – говорит она ему уже, наверное, в четвертый раз. Говорит громко, заглушая шум улицы и пыхтенье двигателя. Я поворачиваю голову к окну. Сейчас середина дня, но уже сумерки. В Петербурге зимой всегда сумерки. Они начинаются с самого утра, переваливают за полдень и незаметно превращаются в ночь, бесконечную, шумную, лихорадочно освещенную электричеством.

Наш маленький автобус скрипит и трясется всем телом. Мы выныриваем из-под виадука и взбираемся на мост.

– Вовочка, убери язык, я кому сказала! – снова повторяет женщина сердитым голосом.

В окне маршрутки – замерзшая река, то ли Малая Невка, то ли Большая – я всегда их путаю. Тусклая снежная лента, тающая в сумерках. Если долго в одиночестве идешь по заснеженному руслу, в отдалении берегов, под ногами рассыпчато скрипит снег – обязательно покажется, что рядом с тобой есть кто-то, что он тоже ступает в снег, бок о бок с тобой. Обернешься вокруг себя – никого…

– Вовочка, убери язык! – снова подает голос женщина. Мои мысли вдруг обращаются к Кате. Вчера она страшно разозлилась, когда я пытался поцеловать ее и пустил в ход руки. Нахамила. Да я и сам был не в духе. Устал от наших случайных гостиничных свиданий, тайных, стыдных, поспешных, устал всюду разыгрывать ее старого школьного друга, ботана, комплексушника, лузера, устал от пустых разговоров с продюсерами, пиарщиками, шоферами, от доверительных бесед с ее любовником, у которого вставные сверкающие зубы и золотые запонки.

– Вовочка, убери язык! – женщина гнет свое. – Я тебе русским языком говорю! Убери язык! Сейчас же убери язык!

Молодые люди дружно поднимают головы от своих мобильников и весело переглядываются. Наш маршрутный автобус, уже одолевший мост, начинает понемногу замедлять ход, прижиматься к тротуару и наконец останавливается.

В салон через спинки сидений просовывается взъерошенная голова усатого водителя.

– Вова, дорогой! – произносит он с сильным кавказским акцентом. – Я больше не могу это слюшать! Сейчас врэжусь, и все умрут… Как человека прошу! Убери язык!

Мужчина в старой куртке, что сидит передо мной, едва шевельнув плечом, невозмутимо продолжает перелистывать газету. Молодые люди смотрят друг на друга и начинают визгливо смеяться.

– Вовочка… – злобно шипит женщина. – Слышал, что тебе дядя сказал? Убери сейчас же язык!

Наш маленький автобус снова трогается. Мысли о Кате вдруг пропадают, и я снова принимаюсь думать о городе и о зиме.

Император и осень

Зимой, я давно заметил, мыслей в голове подозрительно много. Осенью мыслей меньше, но зато они прямее и правильнее. Осенью сам Петербург кажется прямым и правильным, ровно таким, каким его с самого начала начертил император. От холода тут все сжимается до правильности, до прямоты: мосты, дома, улицы; все возвращается к математической изначальности и сухому расчету карандаша, циркуля и линейки. Когда я был маленький, в ленинградском цирке выступал клоун с собакой. Клоун звался Карандаш, а собака – Клякса. Карандаш и Клякса… Император бы наверняка не одобрил. Клоунов он еще мог терпеть, а вот кляксы на дух не переносил. Сразу тянулся ручищей к дубинке. Его влекла аккуратность, спокойная геометрия, та, что всегда случается в городе от осеннего холода.

Работу холода довершают дожди. Они монотонно идут в октябре, поливая сонные сады, пустые парки, шумные бульвары, постепенно смывая живое, физическое, всю материю, оставляя только черные прочерки кустов и деревьев, над которыми золотыми стрелками сверкают шпили, иглы и иголки, уткнувшиеся в пустое небо.

«Шубки и Шабки»

Зато зимой город преображается. Причем так, словно старается сделать назло осени и покойному императору. Преображаются люди, постройки, памятники, деревья. Они «одевают шубки и шабки». Второклассником я написал такое в школьном сочинении. Эти «шабки» родители еще потом полгода мне вспоминали. Хотя, с другой стороны, что тут неправильного? Если есть «шубки», то к ним, согласитесь, должны прилагаться именно «шабки», а не что-то другое.

Я смотрю в окно маршрутки. Похоже, этой зимой «шубки и шабки» действительно сделали свое дело. Из-за снега за окном все кажется крупным, раздувшимся, куда большим, чем оно есть на самом деле. Дома, пластиковые крыши остановок, башенки, трубы, парапеты набережных делаются выше прямо на глазах, словно намереваются посоперничать со всеми этими императорскими шпилями, иглами, иголками и даже с телевизионной вышкой, что стоит тут неподалеку. Антенны, торчащие из домов, провода, паутиной висящие над улицами и площадями, как будто утолстились, разжирели. Памятники тоже разжирели. Эти императоры, революционеры, полководцы, поэты дружно решили наперегонки выставить себя на всеобщее обозрение, видимо, в опасении, что их забудут, задвинут на задний двор какого-нибудь музея.

Даже голые коневоды, что на Аничковом, – и те покрылись снегом, запахнулись в больничные халаты. Так оно, в самом деле, правильнее, да и достоинства побольше. Согласитесь, торчать на виду у всех голыми, посреди столицы, пусть даже бывшей, срам один… Скандал…

Улицы, проспекты тоже раздались, разжирели, вспучились сугробами, потеряли границы, контроль, сделались тесными. Весь Петербург зимой становится тесным, как вот эта маршрутка, в которой мы сейчас едем. Автомобили, автобусы, троллейбусы, грузовики, мотоциклы, фуры, светофоры, фонари, вывески – зима всё сближает, смешивает – наверное, затем, чтобы вернуть в новом порядке, вытащить из истории. И уже потом непонятно, где тут кто. Кто вот тут стоит памятником, под снегом, под «шубкой» и «шабкой»? Кутузов? Суворов? Пушкин? А может, сам император? Его геометрия сломалась. Даже вертикальность – и та оказалась поколеблена: пешеходы, ручные тележки, коляски скользят, теряют равновесие, опрокидываются…

– У светофора остановите… пожалуйста! – просит женщина, та, что с мальчиком. Маршрутка резко тормозит у ДК Ленсовета, у безумной постройки, из которой

рвутся наружу во все стороны плоскости, углы, конусы… Женщина с усилием дергает дверную ручку и выбирается наружу. Вслед за ней вылезает мальчик.

– Вова! Убирай язык, дорогой! – напутствует его водитель.

Телефонный звонок

В правом кармане куртки начинает верещать и вибрировать телефон.

– Але! – говорю я в трубку.

– Чего «але»? – в телефоне нетерпеливый Катин голос. – Тебя когда вообще ждать?!

Маршрутка снова останавливается. Австрийская площадь, крошечная, как сама Австрия. Дверь отодвигается. Молодые люди в пуховиках по очереди вылезают, и в проем просовывается голова девушки в разноцветном шерстяном берете. Короткий нос кнопочкой, маленькие глазки, густо подведенные чернилами. Она начинает задавать водителю вопросы, причем очень громко и прокуренным басом. Он в ответ мотает головой и почти кричит:

– Нэт! Бэз денег не повэзу! Бэз денег пишком ходят!

– Ты… – я слышу, Катя в телефоне произносит какую-то фразу, но слов не разобрать. Вокруг слишком много посторонних звуков. Водитель и девушка продолжают перекрикиваться, грохочет транспорт, гудят сирены, скрипят тормоза, с тротуаров несутся крики, взрывы предновогодних петард.

Когда Катя приезжает сюда, мне кажется, в моей жизни и везде воцаряется чудовищный хаос. Но я по-прежнему люблю ее вывороченные ненастоящие губы, ее водянистые глаза болотной ведьмы, ее сильные прохладные ноги.

– Катя, тут… это… не слышно ничего. Выйду – наберу тебя, ладно?

Даю отбой и сую телефон обратно, в карман куртки.

Девушка, не та, с мужским голосом, а уже совсем другая, в синей куртке с капюшоном, залезает внутрь и пробирается мимо меня на заднее сиденье. Мужчина впереди по-прежнему невозмутимо перелистывает газету.

– Все сэли? Можем ехат? – спрашивает водитель.

Я поворачиваю голову к окну. В окне, в его сумрачном свете я вижу прозрачное серое отражение своего лица и сквозь него – лихорадочно проносящуюся мимо уличную снежную жизнь, сверкающую огнями окон, фонарей, фар и светофоров. Наверное, сверху Каменноостровский проспект похож сейчас на темный широкий поток, кипящий электрическими огнями. Они зажигаются, гаснут и снова загораются.

Катя, когда мы остаемся вдвоем в гостинице, почему-то любит все время включать и выключать свет. У нее всегда под рукой сигареты, зажигалка и обязательно настольная лампа.

Мы познакомились в Париже пять, а может, шесть лет назад, я точно не помню: за эти годы произошло так много всего… Она прилетела из Москвы в Париж на неделю выступить пару раз в каком-то закрытом местном клубе для русских богатеев. А я оказался в Париже случайно – приехал на культурный форум делать доклад с философом-неогегельянцем Погребняком. Еще из знакомых там был наш друг, художник Лёня Гвоздев.

Помню, мы все вчетвером страшно напились в каком-то ресторане в Клиши, и Гвоздев все бубнил, что хочет прямо сейчас написать Катю голой, верхом на пятиглавом змие. Где он собирался искать краски, холст и пятиглавого змия в два часа ночи в европейской столице, было непонятно.

– Ты, дурак, жену свою сначала нарисуй… – смеялась Катя.

Гвоздев в ответ только морщился.

– Материала там, Катюха, мало, материала… – повторял он поплывшим голосом. – Пойми ты! Мне материал нужен…

В гостинице

– Сколько раз тебе говорено! Не надо руками лезть! – объявила мне вчера Катя после очередной нашей ссоры. – Я их себе сделала, чтобы все смотрели, а не трогали. Ясно?

Мы лежали на огромной постели в гостиничном номере, обставленном с какой-то ужасной имперской неуклюжестью. Обильная лепнина на потолке, гигантская люстра, дрожащая хрусталиками, трюмо в золотой окантовке, два атласных ампирных кресла и рядом с огромной телевизионной панелью главная достопримечательность интерьера – гипсовый бюст Сократа.

– Катя, – я старался придать своему голосу беззаботность. – Так ты ж это… сама сказала, чтобы я не пялился…

Катя округлила глаза, откинулась на спину и подняла руки к потолку. Ее красивое лицо потемнело.

– Го-спо-ди! Как же ты меня иногда бесишь! Это при всех не надо пялиться, ясно?! А дома можно! Трогать вот нельзя, ни дома, нигде!

Катя повернулась, подперла ладонью щеку и уставилась на меня своими водянистыми глазами.

– Что же мне с тобой делать, сладенький, а? Я в ответ кисло улыбнулся.

– Может, взять тебя к себе, а? Как думаешь? – продолжила она и поправила свою мелированную челку. – Будешь у меня в квартире прибираться. Раз-два… Вечным мужем…

Ссориться снова не хотелось. Я только закатил глаза и покачал головой:

– Зачем я тебе нужен, если я такой плохой…

Катя потянулась через меня голой рукой к столику.

– Тебе сигарету? – спросил я.

– Ага… и зажигалку…

– Здесь нельзя курить.

– Мне, сладенький, можно. Мне тут все на свете можно.

– Так я это… не понял… зачем я тебе нужен-то?

Она закурила, перевернулась на спину и подтянула одеяло повыше. На ее загорелом лице появилась улыбка.

– Зачем? Это бабский вопрос. «Зачем я тебе», – передразнила она. – Только бабы задают такие вопросы, да и то – если дуры…

Катя, злобно подумал я, разглядывая ее лицо, быстрее всех на свете сообразит, как нахамить, как задеть за живое. Это все потому, что она раньше играла в КВН. И весь ее юмор – родом оттуда. А меня одноклассники не взяли в команду. С тех пор – это от зависти, наверное, – мне никогда не нравились все эти кавээнщики, все эти «веселые» и особенно «находчивые». Клуб находчивых… Придумали же. Возвели в добродетель самое бессмысленное свойство человеческой натуры. Мне вдруг пришло в голову, что где-нибудь, наверное, есть Клуб злых и находчивых. Это когда красивые толстожопые бабы, которые друг друга ненавидят, собираются вместе и заводят светский разговор.

Но ее хамство надо пресечь… В конце концов, кто тут мужчина?

– Знаешь что, дорогая…

– Ладно, шучу… – перебила она и выпустила дым. – Иди сюда, поцелую… Вот так…

Мы поцеловались. От нее приятно пахло духами и дорогими сигаретами.

– Главное – от волнения не обделайся… Можно подумать, ты мне очень нужен…

Катя вдруг отодвинулась, потом приподнялась на локте и затушила сигарету.

– Ты же преподом собрался работать, да?

– Я, к твоему сведению, уже работаю…

– Работаешь?! – она развеселилась. – Ну, так значит, сладенький, тебя скоро отымеют и без моего участия.

Мост

Вот там, говорю я себе, по ту сторону реки виднеется здание института, где меня в самом деле отымели без ее участия. А заодно и философа-неогегельянца. Он тогда был еще «философом-постмодернистом». И отымели бы еще больше, не вмешайся тогда Гвоздев.

Маршрутка выезжает к большому мосту. Здесь ровное пространство, открытое всем зимним ветрам, чистая обозримость, награждающая взор туриста крепостью, собором с позолоченной иглой, могучей гранитной набережной и многочисленными дворцами на той стороне реки. Сейчас сумерки, и все это достояние скрылось бы во мраке, если бы не электрическая подсветка. Она подчеркивает здешнюю контурность и правильную геометричность.

Мост тоже подсвечен – весь в фонарях, огнях, светящихся указателях, предостережениях. В это время дня посредине моста обычно царит только тихая автомобильная возня, и по бокам мелькают тени пешеходов. Мост словно успокоился, задремал, прижался тушей к Неве, перестал вскакивать, разыгрывать перед всеми ваньку-встаньку. Но это лишь его уловка. Когда-то с ним все было иначе. Когда-то здесь стояли бомбисты с приклеенными кучерскими бородами и с узелками в бережных руках. А потом… Но что было «потом», почему-то сейчас не додумывается. Мост не спит. Он притаился, чтобы взорваться, прыгнуть, нырнуть в веселый сон пережитых лет, где есть все: и это салатное здание института, и декан Геннадий Палыч, и Гвоздев, и философ-гегельянец Саша Погребняк.

Сейчас я вам тут всё…

Эта история произошла тоже зимой, десять лет назад, когда страна была совсем другой. Менялись границы, сменяли друг друга премьер-министры, двадцатилетние спекулянты становились директорами предприятий, а профессора торговали кроссовками. Продукты в магазинах то появлялись в чудовищном изобилии, то вдруг исчезали, будто их и не было вовсе. Место кинотеатров заняли стриптиз-клубы и казино. В считаные недели какие-то мутанты сколачивали миллионные состояния, появлялись в телевизоре и неожиданно навсегда куда-то пропадали.

А мы с философом Погребняком искали работу, хорошую, постоянную, денежную. Конечно, без дела никто из нас не сидел. Какая-то работа была, у меня – даже две, но денег все равно не хватало. Я искал третью.

И тут объявился этот Геннадий Палыч, декан гуманитарного факультета, полный мужчина мелкого роста с густой бородой и бегающими глазами. И с ним Петр

Валерьич, заместитель, человек обобщенного вида, похожий на канцелярскую принадлежность. Как они нас нашли, ума не приложу. Позвонили, предложили встретиться, почитать у них лекции. Обещали платить за каждую по 50 долларов. В те годы это были большие деньги.

Мы с радостью согласились.

И как выяснилось, напрасно. Когда закончился первый месяц, нам ничего не выплатили. Петр Валерьич на все наши вопросы тусклым голосом отвечал, что «денег пока нет, но скоро будут». Через месяц он повторил то же самое. Зато Геннадий Палыч как-то собрал сотрудников в большой аудитории, усадил, встал перед всеми и объявил, что у него есть две новости: хорошая и не очень.

– Начну с новости, которая не очень… – он немного поморщился. – Нам опять задерживают зарплату.

Коллеги тупо молчали.

– Но есть и хорошая новость, друзья! Мы с женой только что купили квартиру на Литейном и всех вас приглашаем в субботу на новоселье!

Коллеги очень обрадовались, вытянулись на месте, поглупели и принялись аплодировать и поздравлять Геннадия Палыча. Не обрадовался и не аплодировал только философ Погребняк.

Тем временем семестр шел к концу, а нам по-прежнему ничего не выплачивали. Я отнесся к этому с равнодушной тоской. Тогда, в те прекрасные годы, все друг друга обманывали, и это казалось нормой. Но Погребняк ходил злой. Эта злость очень шла его небритому лицу и кожаной куртке. Как-то раз в перерыве между парами я ему сказал, что вчера в столовой встретил Геннадия Палыча.

– И что? – с нажимом спросил Погребняк.

– Ничего, – я дернул плечами. – Он ко мне подошел, спросил, как дела. Руку мне пожал…

– Пожал?! – вдруг воодушевился Погребняк и сверкнул глазами. – Знаешь что? Я бы вот ему тоже ПОЖАЛ. Одной рукой взял бы и ПОЖАЛ Геннадию Палычу, а другой рукой ПОЖАЛ бы Петру Валерьевичу. Причем одновременно. И, знаешь, от души. Так, чтобы запомнили.

– Ладно, Саша, – сказал я. – Надо это… в конце концов что-то решать.

– Что ты тут решишь?

– Давай, – предложил я, – позвоним Гвоздеву, а? Он придумает что-нибудь…

– Что? Что тут можно придумать?

– Ну, не знаю… – я замялся… – Он же это… художник. Человек с воображением.

А Лёня Гвоздев и впрямь мог что-нибудь придумать. Среди художников он считался законченным психопатом и чуть что – сразу лез в драку. Перспектива провести ночь, пятнадцать суток или даже два года в тюрьме условно нисколько его не пугала. Гвоздева боялись таксисты, официанты, галерейщики и даже бюрократы, брошенные партией на изобразительное искусство и ухитрившиеся пережить Советский Союз.

В тот же вечер я позвонил Гвоздеву.

А еще через три дня нас обоих вызвал к себе Геннадий Палыч, скептически оглядел с ног до головы и велел подойти в пятый кабинет, заполнить ведомость и получить зарплату.

– Как тебе удалось деньги из него выцарапать? – спросил Погребняк.

На худом, покрытом морщинами лице Лёни Гвоздева заиграла довольная ухмылка, татарские глаза весело сузились.

– Проще пареной репы…

Мы втроем сидели в ресторане на Васильевском и отмечали нашу первую зарплату. Сделали заказ и теперь ждали, когда принесут салат и водку.

– Вы оба, – Гвоздев для пущего эффекта зажег сигарету, – просто не знаете, как с такими красавцами разговаривают творческие люди. Слушайте!

– Давай, Лёня, рассказывай, – поторопил философ-постмодернист. – Творческий ты наш…

– Короче, – начал Гвоздев. – Явился я в приемную. Там, короче, секретарша Зоя. Она мне, кстати, сразу понравилась. Сиськи – во!

Гвоздев показал руками.

– Во-первых, – остановил я его, – не надо такие вещи на себе показывать. А во-вторых, давай не про сиськи, это неинтересно.

– Почему? – воодушевился вдруг Погребняк. – Мне, например, очень интересно.

Гвоздев затянулся сигаретой.

– Короче, – снова начал он. – Прихожу я. Представился в приемной, что, мол, я к Геннадию Палычу, так, мол, и так, зовут – Леонид Гвоздев, художник, член-

многочлен творческих союзов, лауреат премий. «Вас пригласят», – говорит эта Зоя. Посидел-подождал, Зою поразглядывал. «Какие, говорю, у вас, Зоя… ну, эти… в смысле… планы на вечер?» Но тут меня вызвали. Захожу, короче, в кабинет Геннадий Палыча, а там, мужики… охренеть! Дубовый стол, огромный такой, размером с теннисный, резные кресла, старинный паркет, да еще ковер на полу. Короче, бабла потрачено – караул…

– Да мы знаем, Гвоздев, – сказал я устало. – Бывали. Ты давай лучше дело говори…

Гвоздев потушил сигарету.

Явилась официантка с салатами на подносе и графином водки.

– О! – обрадовался Гвоздев. – Очень кстати, девушка.

Он разлил водку.

– За вас, мужики!

Мы выпили.

– Короче, – снова начал он. – Посреди всего этого сраного великолепия ваш Геннадий Палыч восседает. В очках, в бороде, рожа красная. Я ему: здрасьте, говорю. Он на кресло кивает так дружелюбно, мол, прошу садиться. Я сел.

«Слушаю», – говорит. Я ему: «Простите, Геннадий, как вас по отчеству, я забыл?» Он дернулся и сухо так: «Палыч. Геннадий Палыч. Давайте ближе к делу, у меня времени мало».

«У меня, – говорю, – дорогой Геннадий Палыч, времени еще меньше, выставка в США, едрись она конем, потом – в Париже, потом – телевидение». «Я вас слушаю…» – говорит. «Короче, – говорю, – Геннадий Палыч, надо ребятам бабосы выдать, в смысле зарплату, а то – нехорошо получается». Геннадий Палыч, сука, улыбается и спрашивает: «Каким ребятам?» «Каким, – говорю, – Аствацу и Сашуне, в смысле, Погребняку». Он очки снял, посмотрел строго. «Это, – говорит, – дело внутреннее… Не могу обещать». «Нет уж, – говорю, –

пообещайте. Пока не пообещаете, я отсюда не уйду. Буду тут сидеть». «Не понял? – удивился он». «А чего тут, – говорю, – непонятного?» «Всего хорошего, – говорит. – Дверь только закройте с той стороны». И – мордой очкастой в бумаги. Тут я, мужики, не выдержал, взбесился. «Вот как? Я, – говорю, – знаете что?! Я вам щас тут все нахер обоссу!! Понятно?!»

– Господи, – перебил его Погребняк. – Лёня, ты что, сдурел?! Нам же там работать еще! Мы же попросили тебя вежливо с ним…

– Лёня, – вмешался я. – Так же нельзя!

– Почему нельзя?! – хохотнул Гвоздев. – Можно. Спокуха, мужики, слушайте дальше! Короче, этот ваш Геннадий Палыч, как я ему пригрозил, поднял голову, покраснел весь, вскочил и кричит: «Зоя! Зоинька! Охрану вызывайте!» Я ему: «Всё, – говорю. – Теперь точно все обоссу! И камин, и кресла, и ковер!» Тут Зоя заходит, а я уже ремень расстегнул и начинаю расстегивать ширинку. «Зови, – говорю, – Зоя, охрану, и ментов заодно. Мне, говорю, только этого и надо. Задержат – так скандал. Я, если что, – узник совести. Картины лучше покупаться будут на Западе. А еще, Геннадий Палыч, все узнают, что у вас тут кабинет обоссан и что я это сделал в знак протеста, потому что вы зарплату не выдаете!» Они оба вытаращили глаза, а я говорю: «А вам, Геннадий Палыч, еще за мной ссанье подтирать придется. Зоя, – говорю, – точно не будет. И ковер надо будет выбросить». Зоя стоит как вкопанная – варежку разинула… А этот реально психанул, весь побагровел, сначала сел, потом вдруг встал, потом снова сел, за бумаги схватился, за телефон. Наконец бухнулся в кресло, выдохнул и говорит Зое: «Потом зайдите, ладно? У нас тут мужской разговор». И мне устало: «Чего вы от меня хотите?» Улыбается нервно так, через силу. Мне даже неловко стало – человека так довел. Я говорю: «Ребятам зарплату заплатите…» Он кивнул. «Ладно, – говорит, – только при одном условии: чтобы ноги вашей здесь больше не было, господин член творческих союзов. А друзья ваши пусть завтра зайдут, что-нибудь придумаем. До свиданья!» Ну, я, короче, застегнул ширинку, потом ремень, поклонился, как в фильмах, церемонно, чтоб для эффекта, и вышел. Все! Давайте, ребята, по второй, а?

Помню, он в тот раз что-то еще рассказывал, всё говорил, говорил. А мы молчали – никак не могли поверить своему счастью и деньгам, очень кстати привалившим.

Гвоздев потом женился на этой Зое. Правда, через два года развелся.

Марсово поле

Я чувствую, что в маршрутке потеплело. Наверное, заработала печка. Хотя – не знаю – нет тут, наверное, никакой печки, а просто слишком много теплого человеческого тела и теплой одежды. Снаружи – тающее в темноте Марсово поле. Я вдруг начинаю ощущать всем телом, что оно, заваленное снегом, нисколько сейчас не остывает, а, напротив, только разогревается. Всеми своими клумбами, клубнями, кустами, ветками деревьев.

Да и сам город зимой только и делает на самом деле, что разогревается, будто готовится к чему-то главному, к новой жизни. Дома разогреваются центральным отоплением, а люди – всем чем угодно: пуховиками, шерстяными кофтами, кальсонами. Закутавшись, человеческая материя преет, разбухает. Разбухают и преют смыслы, мысли, замыслы. Даже слова – и те тоже преют, разбухают, теряют очертания. В книгах преют рисунки, буквы, знаки препинания.

Позади – Троицкий мост, переживший бомбистов, кровавые революционные зори и два переименования. Если ехать дальше по Садовой к Невскому – там впереди Публичная библиотека, книжное место, где в девяностые я прятался от либеральных реформ. Маршрутка сворачивает к обочине, останавливается, и к нам залезает мужчина в грязном полушубке. Он расхлябанно плюхается на сиденье рядом со мной, и в нос щедро ударяет запах перегара. Отворачиваюсь к окну и вижу возле фонаря человека в военной форме. В уголке рта тлеет огонек сигареты. Солдат? Офицер? Не разглядеть. Мне вдруг приходит в голову, что перед тем как пойти к Кате, нужно заглянуть в аптеку.

И фонарь, и красные зори над мостом, и ночь, и библиотека, которая рифмуется с аптекой, – все это вдруг само собой складывается в дурацкое стихотворение, кем-то уже дважды сочиненное:

Ночь, улица, фонарь, аптека.

Стоит солдат у фонаря.

Открылася библиотека.

Встает кровавая заря.

Эх, Лёха, Лёха…

– А я тебе говорю, не знал ты Лёху! Не знал! – втолковывает мне мужчина, тот самый, который подсел на Марсовом поле. Мы оба вылезли возле Гостиного Двора, маршрутка наша давно уехала, и теперь стоим на улице и разговариваем. Вернее, говорит он, а я зачем-то слушаю. У него – небритая костистая физиономия, лоб весь в ссадинах и красной шелухе, нос обсыпан черными точками угрей. Одет в рваный бурый полушубок, откуда-то из советских времен, и спортивную зеленую шапочку-петушок – оттуда же.

Мой собеседник запускает руку в карман, извлекает наружу стеклянную флягу, во фляге плещется золотистая жидкость.

– Будешь? За Лёху?

– Нет, – говорю, – спасибо.

– Ты чего? – растерянно произносит он. – Я ж не каждому предлагаю… За Лёху-то?

«Про Лёху» он мне начал рассказывать еще в маршрутке, что «вместе в саперном служили», что парень был «золото», мастер на все руки – мог и «рыбачить, и херачить». А тут взял да и помер пять лет назад.

Мимо нас куда-то спешат люди, топчут грязный снег. Он тает, ритмично чавкает у них под ногами какими-то детородными звуками.

Мужчина тяжело вздыхает и, подумав, объявляет:

– Вот и Лёха такой был, значит… Сидит себе иной раз, молчит, курит, херню какую-то себе думает… Со стороны – долдон долдоном… как ты вот… Я такого не приемлю! А достанешь при нем бутылку – все! Цветет человек!

Он громко шмыгает носом и, помолчав, пытается продолжить:

– Помер Лёха…

На глазах у него выступают слезы. Я стараюсь всеми мышцами лица изобразить сочувствие, но он глядит в сторону. Кажется, наш разговор, слава богу, движется к концу.

– Погоди, – говорит он. – Я те дорасскажу, что есть. Жена у него, значит… Несчастная баба. Раз в год прихожу, сидим, выпиваем, Лёху вспоминаем. А потом, значит… того…

Он смолкает и делает глоток из фляжки.

– Здесь нельзя, – говорю. – Употребление спиртных напитков в общественном месте…

– Можно… – он морщится и занюхивает выпитое грязным рукавом полушубка.

– А чего вы… «того»… ну, с его женой?

– Чего-чего? – ворчит он, уставившись себе под ноги. – Трахаемся мы… Вот чего! Она всегда просит, чтобы я ее того… Отказать неудобно, женщина все-таки, ты ж понимаешь… А мне оно надо, думаешь?

Он смотрит мне в глаза, трясет пальцем и с решимостью объявляет:

– Мне оно не надо! У меня жена, да еще Ирка с работы… А тут эта Лёхина… У нее уж… сиськами в футбол играть можно… Неохота… понимаешь? А надо! Надо, в память о друге…

Он рубит ребром ладони воздух. В этот кульминационный момент в моей куртке звонит спасительный телефон.

– Ты где вообще?!! – сердито спрашивает Катин голос и сразу же пропадает.

– Иду… – зачем-то отвечаю я в уже онемевший телефон. – Сейчас иду…

Не отрывая телефона от головы, махнув свободной рукой Лёхиному другу, я удаляюсь, оставив его посреди тротуара, – растерянного, одинокого, с флягой в руке…

Вокруг огни, шум, проезжают автомобили, город торопится, толкается, куда-то катит, по Невскому, по Садовой. Я шагаю вдоль Гостиного Двора, мне навстречу – море лиц, витрин, огней… Всего так много, что это никак не ухватить, ни умом, ни взглядом… Я вливаюсь в этот разбухший поток жизни и чувствую, как мои руки, ноги, туловище наполняются новой странной силой, а голова – глупым приятным добродушием.

Санкт-Петербург – Комарово, 2015

Елена Колина

«Это Питер, детка»[1 - Происхождение фразы не установлено.]

«Мир такой большой, а ты, детка, всю жизнь толчешься на пятачке от Садовой до Рубинштейна», – сказал мне приятель. Это справедливый упрек, моя личная география такая микроскопическая по сравнению с тем, что могло бы быть: Берлин – Нью-Йорк – Тель-Авив – Сидней или даже, простите за выражение, Порт-Морсби (всего-то отделен от Австралии проливом Торреса) – почему бы нет?… А я живу крошечной буквой П: если от дома моего детства на Садовой пойти к моему взрослому дому на Рубинштейна… пойти-пойти… Садовая, Невский, Рубинштейна… за 18 минут можно дойти. Плюс 2 минуты на чуть замедлить шаг на Аничковом мосту.

В детстве (детство было до тридцати лет) я жила на углу Садовой и Гороховой… хочется сказать «на углу Садовой и Дзержинского», ведь это Вера Павловна жила на Гороховой, а я жила на Дзержинского. В доходном доме конца XVIII века, в роскошной квартире 200 метров с закоулками и коридорчиками с видом на магазин «Водка. Крепкие напитки», первая подворотня от угла, двор-колодец… Почему подворотня, почему двор? Как почему? Это же Питер. 1 мая и 7 ноября по улице, от ТЮЗа до Адмиралтейства, шла демонстрация. Тогда в нашу подворотню ставили грузовик, чтобы из двора не выскочили злоумышленники и не напали на демонстрантов. Так мы и сидели по домам замурованные… ну, это такая питерская история, кто жил в центре, знает, – между грузовиком и стеной не пролезешь, а ползти под грузовиком страшно.

Гороховая (улице вернули старое название в 1991 году) – чудная улица, по-петербургски «богатая», так называл ее Достоевский, по-ленинградски демократичная. По ней, одной из немногих центральных улиц, был разрешен проезд грузового транспорта, и от выхлопных газов воздух был черный, – придя домой, нужно было смахнуть черную пыль с лица, как пыль с мебели. Но жить там было – счастье! Можно встать лицом к Адмиралтейству, спиной к ТЮЗу, и будет ПИТЕР.

Так вот – через подворотню во двор-колодец (во дворе всегда, днем и ночью, грузчики разгружали грузовик с водкой-крепкими напитками) – в подъезд, – осторожно, в подъезде лужа! – нужно впрыгнуть сразу на вторую ступеньку лестницы. Это не поэтическая лужа после дождя, который в Питере, понятное дело, круглый год – о, нет. Рядом же «Водка. Крепкие напитки»!.. Лужа была всегда, – люди ходили по накатанному маршруту: магазин – где-то рядом выпить – и шмыгнуть в наш подъезд справить малую нужду. Но это казалось… ничем это не казалось, ни «фу, какая гадость», ни данностью жизни, просто перепрыгнул – и всё. И вознесся на четвертый этаж без лифта по лестнице, перпендикулярной небу. Ну а когда вознесся, там уже все хорошо – книги-картины, и тому подобный всяко-разный профессорский быт, и папа в клубах дыма с журналом «Новый мир» или с чьей-то диссертацией. Когда папа принимал коллег из европейских университетов (частные визиты, но иногда проходили в сопровождении людей в штатском), мама мыла лестницу, сама. Зачем? Чтобы европейские профессора не увидели лужу. Они что, не могут перепрыгнуть? Пусть прыгают, как советские профессора. «Неудобно», – вздыхала мама.

Напротив дома, с Садовой, районная библиотека. О-о-о! Счастье. Запах книг, абонемент, формуляр, к полкам не пускают, но, если библиотекарша Лия Марковна тебя полюбила, пускают. Мне было лет тринадцать, когда она, в знак своего особого расположения, дала мне «Виконт де Бражелон», три тома – ТРИ. Дюма – дефицит подефицитней копченой колбасы. Я их потеряла. Ну, то есть у меня их украли. Носила в школу, читала на переменах, открыла портфель – нету!.. Можно заплатить 25 рублей (в пятикратном размере), папа мне даст и ругать не будет, но у Лии Марковны будут неприятности. Нужно вернуть – не деньги, а книги, но где их взять? Бедная, бедная Лия Марковна, я готова сама встать на полку вместо «Виконта де Бражелона» – что делать?!.

Если выплеснуться из дома и пойти по Садовой к Невскому, то первый важный дом – кинотеатр «Сатурн». Не пышный, как «Аврора» или «Титан» на Невском, а так, захолустный, и мест немного, и фильмы не первым экраном – немного

странно, что в пяти минутах от Невского никогда не идут новые фильмы, а всегда старые, например «Неуловимые мстители». Однажды папа так устал после защиты сразу троих аспирантов, что по-мальчишески забежал туда, минуя дом, тайком посмотрел «Приключения неуловимых» и пришел домой, довольный и аспирантами, и кино, – в этот вечер он умер. Сейчас в здании кинотеатра «Сатурн» театр «Приют комедианта».

Я думала, что никогда не буду смеяться, но уже через год мы с подружкой, хохоча, наперегонки неслись по Садовой с колясками с новорожденными дочками, игра называлась «Бег с колясками»: кто быстрее добежит до Невского. Рожать детей рано – хорошо, вместе несетесь по Садовой. Мимо магазина «Красная Шапочка» – пупсики, игрушечные кастрюльки, чайнички, утюжки, игрушечная единица стоила от 30 копеек до рубля. (Когда дочка подросла, мы с ней заходили в «Красную Шапочку», я покупала своей дочке игрушки каждый день. Я избаловала свою дочь. Она до сих пор хочет игрушки каждый день. Ну и что?)

…Мимо городской музыкальной школы, главной музыкальной школы в городе, в нее брали самых способных. (Либо по блату. Нас-то по блату, на скрипку, а слуха хорошо если на деревянный ксилофон из «Красной Шапочки» наберется. По блату взяли, а мы не пошли! Не нужно ребенку быть там, где он «не самый».)

…Мимо Апраксина двора, иногда на ходу поглядывая в витрины, иногда пиная друг друга коляской – кто быстрей добежал до Невского, тому приз: пока проигравшая остервенело трясет обе коляски, победившая в гонке может пройтись по Невскому одна, без коляски. Счастье. Если идти по Садовой от кинотеатра «Сатурн», если перейти дорогу (Мучной переулок) – будет садик. В садике желтое здание с колоннами – это бывший Ассигнационный банк, первая работа Кваренги в Санкт-Петербурге, поэтому в конце шестидесятых в садике поставили памятник Кваренги. В этом садике публично сжигали износившиеся бумажные деньги. Люди стояли на Садовой и смотрели – вау, деньги горят! Наверное, думали: чем сжигать, лучше бы нам отдали. Это было в 1860-х годах. А в 1930-м в здании банка открылся Ленинградский Финансово-экономический институт, все называют садик «садик ФИНЭКа». В садик ФИНЭКа я пришла посидеть-на-скамейке-поплакать-подумать – что делать с Дюма. В этом садике у меня был враг: главный местный хулиган, который почему-то выбрал меня в качестве жертвы: подстерегал и кричал «еврейка», громко так орал, на всю улицу: все прохожие понимали, что это я – еврейка. Я воспитывала волю – никогда не обходила садик по другой стороне, а, сжав кулаки, проходила мимо –

медленно и повторяла про себя «Зоя, Любка, Ульяна» – это имена героев, они бы ни за что не стали обходить! И я повторяла имена героев и еще «не победишь меня, не заставишь бояться, я ка-ак закричу – „Фаши-ист!“». Ни разу не закричала. Воспитывала волю молча. Меня не учили, что на улице можно кричать. А также махать руками при ходьбе… Но утром мой враг был в школе, вот я и пришла. Села на скамейку, подумала и заплакала. И тут – как из-под земли – хулиган. Увидел, что я плачу, и говорит: «Я тебя люблю». Вот оно что. Оказывается, это все была Первая Любовь. Он принес мне Дюма. Три тома. Откуда взял? Ну, когда первая любовь, что хочешь возьмешь. Он обрадовался: до этого он не знал, как проявить свою любовь, и тоску, и возмущение несправедливостью жизни – он хочет это, а вот как раз этого у него никогда не будет. Человек, особенно маленький, интуитивно понимает все, и он знал, что нам с ним не по пути. Интересно, кем он стал, когда вырос, – бомжом, олигархом? Только не инженером, для инженера в нем было слишком много страсти… Когда главный хулиган говорит «я тебя люблю» – это вообще-то немалое счастье.

За садиком ФИНЭКа Гостиный Двор (вот где счастье – купить на галерее джинсы у спекулянта), напротив ресторан «Метрополь»: парадная красота, лестница, «как в музее», салфетки накрахмаленные, свернуты в конус, папа водил меня сюда есть киевские котлеты. Папа рассказывал: в конце XVIII века здесь был построен доходный дом, – вкусная котлета, детка? – затем известный петербургский ресторатор Немчинский открыл здесь ресторан «Гостиный Двор», затем обанкротился, и ресторан перешел в руки «Санкт-Петербургского товарищества официантов и поваров», – ешь, детка, – а с 1931 года заведение уже было государственным – тут папа вздыхал, а я ела киевскую котлету, метрополевские котлеты были огромные… В «Метрополе» у меня была свадьба, типичная свадьба пела и плясала. «Метрополь» считался престижным, солидным, ленинградская номенклатура его любила, жених был из номенклатурной семьи. Платье с трехметровым шлейфом, шлейф несут две подружки, и все, что полагалось на номенклатурную свадьбу, с чем мои родители тактично смирились – лучший в городе тамада, лучший в городе каравай, лучшее в городе пшено или какое-то другое зерно, которым нас обсыпали, как куриц, – и сто человек моих близких друзей скакали под украдкой заказанную «Хаву Нагилу», номенклатурные гости тактично смирились… Теперь мы в «Метрополь» не ходим, там стало глупо. Только иногда в кулинарию: знаменитые пирожки, и паштет, и печенье «Суворовское», все ленинградцы его знают – на нем сверху шоколад. А вот торты в «Метрополе» не очень, слишком «советские» – бисквит и много крема.

Чтобы с Садовой попасть к Катькиному саду, не выходя на Невский, можно пойти по переулку Крылова. Переулок Крылова, дом 3 – Очень Важный Адрес. Трехэтажный желтый дом, когда-то самый важный адрес, ОВИР Центрального района. Сколько волнений здесь было, сколько страстного мелкого жульничества – получить разрешение на выезд в Америку! в Париж! в Германию! – получить новый паспорт, не сдавая старого, получить два новых паспорта, съездить по новой визе в старом паспорте, – когда-то весь мир начинался здесь, на Крылова, 3. Вышли к Катькиному садику, к Публичке. Я впервые пришла в Публичку юным гордым кандидатом наук: потеряла автореферат своей диссертации, а в Публичке он как раз имелся, в Публичке его не потеряли. Вошла в тот корпус, который построил Росси, отдала фотографию 3?4, оформила билет, получила на входе какую-то бумажку, сделала копию своего автореферата, прониклась духом Публички (я тут, в этих стенах, как Державин, Гнедич, Стасов, Кипренский, Крылов, Батюшков, Дельвиг), прочитала на памятной доске приказ первого директора Публички: «Истинная цель открытия книгохранилища состоит в том, чтобы всякий, кто бы он ни был, мог требовать для своего употребления всякого рода печатные книги, даже и самые редкие, коих в частном состоянии трудно иметь, а иногда, по обстоятельствам, и отыскать нигде невозможно…», и, как героиня «Москва слезам не верит», которая хотела «познакомиться в приличном месте», отправилась в курилку. И там, в курилке, смяла и выбросила «какую-то бумажку» в урну – она мне мешала красиво курить. А на выходе из Публички – ой. Не выпускают! Говорят: «Тут у нас Храм Науки, а вы! Выбросили бумажку! У нас посещаемость 1 300 000 человек ежегодно, и ни один! Из них! Не выбросил! Бумажку!» И я в обратном порядке – в курилку, в урну, ворча «это же не Остромирово Евангелие, не Синайский кодекс, не библиотека Вольтера, это всего лишь какая-то бумажка», вытащила мусор, нашла в окурках свою бумажку, разгладила, вымыла и долго сушила на батарее. Как дура… Если у Катькиного сада перейти Невский, через пару минут будет Книжная Лавка Писателей. Когда я вижу свои книги в витрине, я стою-смотрю-и-думаю: «Счастье-счастье-счастье».

Рядом с Катькиным садом Аничков дворец, а там… о-о!.. Там дорога к медали Филдса (аналог Нобелевской премии для математиков) – знаменитый математический кружок для одаренных детей, выпустивший Перельмана и прочих гениев. Там воздух густой и напряженный, в воздухе витают надежды, там родители вдохнули и затаили дыхание: маткружок – городская олимпиада – всесоюзная – международная – пуск!.. Папа говорил, такого высокого уровня раннего математического обучения не найти во всем мире, культурные ленинградские семьи ценили этот кружок, как будто это Гарвард. Когда-то давно, девочкой, я спросила Гришу Перельмана: «что вы там делаете?»… я

вертелась, корчила рожи, закрывала глаза, а он все рассказывал, как решил задачу, как будто смотрел не на меня, а в себя, а там – задача… Взрослой я несколько лет провела в коридоре маткружка, хранилась там в раздевалке, как тапки, – ждала сына, пока он решал задачи. Вела своего гения домой по Невскому, по Аничков у мосту, нервно спрашивала:

«Сколько ты сегодня решил задач? Ты больше всех решил? Ты был первым?» (ну, как бы нам сразу в Гарвард, или пока в Аничковом дворце порешаем), на Аничковом мосту останавливались, смотрели на Фонтанку – это было сто тысяч раз, и сто тысяч раз сын говорил мне: «Мама, красота?!! Красота важнее задач».

Перешли Аничков мост – на углу Штакеншнейдер. То есть дворец Белосельских-Белозерских архитектора Штакеншнейдера, эклектика, красивый, как… как моя жизнь в Питере. А мы всегда говорили «Штакненшнейдер», мы же с Питером «на ты». Тут, можно сказать, прямо на улице, на Невском у Штакеншнейдера была моя вторая свадьба. На Невском напротив – ЗАГС Центрального района: забежали по дороге на работу, расписались в книге, на Невском, у Штакеншнейдера, поцеловались, и – а где свидетельство о браке?! Забыли в ЗАГСе. Опаздывали, решили: потом возьмем, когда понадобится. Понадобилось через два года, когда сын родился.

От Штакеншнейдера два дома по Невскому, и направо – улица Рубинштейна – прижилось название, даже моя мама, которая жила здесь с рождения (и в школе училась с Довлатовым, и он на нее поглядывал, мама была красивая, и сейчас красивая, роман у нее был с папой, но поглядывали на нее и Довлатов, и Рейн, и Бродский, Питер устроен как Пухова Опушка – все-все-все друг с другом знакомы), никогда не называет Рубинштейна Троицкой.

В пяти минутах от Невского по Рубинштейна – мой дом, Толстовский дом, один из самых знаменитых домов в Петербурге: северный модерн, три соединенных ренессансными арками проходных двора, первый двор выходит на Рубинштейна, третий – на Фонтанку. Во дворах фонари 1911 года – эти фонари блокаду пережили, галереи, эркеры, в третьем дворе у нас зимой стоит елка. В советское время здесь любили снимать кино, выдавая дворы Толстовского дома то за один европейский город, то за другой. Еще здесь снимали «Зимнюю вишню», но у нас нет таких, как в этом фильме, маленьких отдельных квартир. В нашем доме огромные квартиры, в советское время здесь жили известные люди, к примеру, Эдуард Хиль; но в основном это были коммуналки.

В нашем дворе всегда есть «посторонние»: художники с мольбертами, стайка туристов, задающих экскурсоводу вопросы про северный модерн, и архитектора Лидваля, и про жизнь, например, почему во дворе между «лексусом» и «мазерати» стоят раздолбанные «жигули». Почему, почему… потому что в этом доме еще остались коммуналки… Когда рекламируют квартиру в «новом элитном доме», приводят аргумент: «Вы будете жить в однородном социальном окружении». Это означает, что рядом с нами не будет людей беднее нас, не будет бомжа, хирурга из детской больницы Раухфуса, пожилой учительницы, бабушки, которая по этому двору в блокаду саночки возила. Людей богаче нас тоже не будет, ни одного нефтяного магната. Рядом окажутся только люди, у которых ровно столько же денег, что у нас, и все вместе мы будем – в социально однородной среде, как в манной каше без комков. Совсем не то у нас, в Толстовском доме! В нашем элитном, элитном, элитном доме полно странностей и противоречий, у нас на одном этаже позолота и мрамор, здесь живут «богатые», а на другом – коммуналки, и кто там только ни живет – милиционеры, модели, врачи, программисты, безработные. У нас здесь представлены все варианты жизни; Толстовский дом, как Ноев ковчег, – есть всё.

В новом доме с однородным социальным окружением нет прошлого, нет дружб длиною в жизнь, ссор и романов, любви и предательства, а у нас, а здесь… Как говорил Райкин: «А у на-ас… а зде-еся…» У нас бывает забавно: охранник открывает респектабельному господину дверь «лексуса» – «пожалуйста, Владимир Иванович», а мимо задумчиво тянется сосед в отвисших тренировочных штанах образца 1975 года с помойным ведром в руке и, отталкивая охранника, говорит: «Вовка, дай прикурить». Владимир Иванович дает, потому что он – Вовка-морковка. Они раньше в одной коммуналке жили, в одном классе учились и неизвестно, кто у кого списывал.

Напротив Толстовского дома в Щербаковом переулке («на Щербаке») – сквер, в этом сквере гуляли с Алисой Фрейндлих (мой папа в юности за ней ухаживал, говорил, она уже тогда была особенная), она с внуком, я с сыном, я кричала сыну «холодно, ты совсем голый, надень шапочку!», она сказала «мне кажется, можно без шапочки». В сквере стоит памятник Михаилу Малевичу, «выдающемуся экономисту, вице-губернатору Санкт-Петербурга», я хожу здесь каждый день и иногда (не каждый раз, мы ведь не близко дружили) думаю – «Миша». Мы не близко дружили, но Мишин сын назван в честь моего папы – так вышло. Все мы в Питере связаны, перепутаны, передружены.

И все мы в Питере связаны, перепутаны, передружены, и в каждом любом месте я смеялась, целовалась, выходила замуж, в Порт-Морсби (хотя он всего-то отделен от Австралии проливом Торреса) так бы не было. Я не знаю, как жить там, где не в каждом любом месте смеялся, – может быть, и хорошо, я не знаю. Думаю, без Питера чувствуешь себя голым, ну, может быть, не совсем голым, но без шапочки.

Евгений Водолазкин

Ждановская набережная между литературой и жизнью

Ждан – ребенок, которого очень ждали. Неждан, соответственно, наоборот: в отношениях мужчины и женщины случается и такое. От прозвища Ждан происходит фамилия Жданов, рождающая у отечественного читателя смешанные чувства. Многие еще помнят, как оканчивали учебные заведения имени Жданова или жили на названных в его честь улицах.

Я – счастливое исключение: более десяти лет мы с семьей прожили на Ждановской набережной, которая к тому Жданову не имела никакого отношения. Наш Жданов, точнее, братья Ждановы, Иван и Николай, были «учеными мастерами», владевшими в XIX веке Петровским островом у Петроградской стороны. На острове братья производили березовый деготь, древесный уксус и синьку. Речка, омывавшая остров с севера, стала называться Ждановкой – отсюда и Ждановская набережная. Все очень достойно.

На Ждановской набережной мы поселились в доме номер одиннадцать – монументальном сооружении сталинского ампира, напоминающем триумфальную арку. Две части этого дома, построенного в 1955 году на месте двух деревянных домов, и в самом деле соединяет арка, под которой боязливо пробегает Офицерский переулок. По этому переулку маршировали офицеры и курсанты Военно-космической академии, направлявшиеся для построения на стадион Петровский (когда-то – им. Ленина).

Квартира наша была двусторонней: окна большой комнаты выходили на мост через Ждановку и стадион Петровский, окна спальни и кухни – на Офицерский переулок. По которому, повторю, маршировали военнослужащие в своем

несуетном движении на стадион. Заслышав барабанную дробь в переулке, я подходил к окну спальни и наблюдал их приближение. Когда первые шеренги скрывались под аркой, переходил к противоположному окну. Любовался тем, как, игнорируя колебательный закон, они самозабвенно чеканили шаг на мосту. И ничего, вопреки школьному учебнику физики, с мостом не происходило.

По мосту ходили также болельщики «Зенита». Ходили, как и следовало ожидать, нестроевым шагом, так что за них я был в целом спокоен. В отличие от скупых на слова военных, болельщики много кричали, а еще больше – мочились, заходя во двор. Чтобы остановить этот поток, наш сосед выводил своего бульдога. Бульдог, и сам способный при случае пометить территорию, входил в ступор: такого количества меток он не видел никогда. А ведь от своих высших достижений «Зенит» был тогда еще очень далек.

Помимо бульдога, в связи с домом на Ждановской вспоминаются птицы. Одна из них – соседский попугай, которого мне довелось спасать. Как-то раз в нашу дверь позвонила соседка и сказала, что ее попугай, залетевший в щель между шкафом и стеной, не может выбраться. Она просила о помощи. Вероятно, в ее глазах я был тем, кто способен помочь попугаю. Я не люблю птиц, хотя люблю, скажем, котов (тут уж, видимо, либо одно, либо другое), но отказать соседке не смог. По условиям задачи шкаф не отодвигался, его можно было только разобрать, и мне пришлось забраться на него по стремянке. За стенкой шкафа, где-то у самого пола, я увидел маленького попугая. Он находился так далеко, что достать его казалось делом совершенно невозможным. Получалось, что хозяйке следовало выбирать между шкафом и попугаем.

Чтобы сделать для попугая хоть что-нибудь, я затребовал швабру. Я был уверен, что он испугается и забьется еще дальше, но не предпринять ни одной попытки не мог. Протолкнув ручку швабры вниз, я начал осторожно подводить ее к птице. К моему изумлению, спасаемый не стал капризничать и проявил благоразумие. Без лишних слов (неизвестно, являлся ли этот попугай говорящим) он схватился за ручку обеими лапами и был извлечен на поверхность. Зная свою хозяйку, попугай, возможно, подозревал, что выбор будет сделан не в его пользу.

Птицы на Ждановской набережной залетали в окна, садились на балкон – сказывалась близость зеленого Петровского острова. Однажды рано утром я проснулся от громкого карканья ворон. Карканье, даже тихое, имеет оттенок скандальности. Уж это, видимо, дар такой, особенность породы: есть у меня

знакомая (не ворона) – что бы она ни говорила, создается стойкое впечатление скандала.

Накрыв голову подушкой, я все еще пытался заснуть, но не тут-то было: зазвонил телефон. Обругивая ворон, звонившего, испорченное утро, я снял трубку. Звонили из дома напротив. На моем балконе, как выяснилось, сидел совенок, которого и атаковали разъяренные вороны. «Если вы снимете совенка с балкона, – пообещали в трубке, – мы готовы взять его себе». Есть просьбы, выполнить которые соглашаешься только спросонья. Я, поколебавшись, пообещал попробовать. Пусть я не знал, как с балконов снимают совят, но, утешал я себя, не знал ведь я и того, как из-за шкафов достают попугаев. Я снял с дивана плед и подошел к балконной двери.

Сидевшая на балконе птица опровергала все мои представления о совятах. Единственный совенок, с которым я до этого имел дело, была игрушка, подаренная моей дочери, – он был размером с ладонь. Совенок на моем балконе (использую доступную мне систему мер) был больше громадного плюшевого кота, также подаренного дочери. Птица подслеповато смотрела по сторонам и вяло уворачивалась от ворон. Вороны пролетали над ней на бреющем полете, но касаться ее, кажется, остерегались. Раздумывая, как на такого совенка набросить плед, я начал осторожно открывать балконную дверь. Здесь мне повезло меньше, чем с попугаем. Не догадываясь, что спасение близко, сова (назовем вещи своими именами) взмахнула крыльями и в сопровождении ворон улетела куда-то в глубь двора.

В дом на Ждановской залетала ко мне еще одна птица, но о ней я рассказал в романе «Соловьев и Ларионов», так что не буду повторяться.

Роскошь и основательность нашего дома, как это нередко случается с помпезными вещами, были чисто внешними. Так, сооружение дворцового типа почему-то не имело лифтов. Стены между квартирами (намеренно?) были исчезающе тонкими, так что я оказывался невольным свидетелем семейных ссор на этаже, не говоря уже о меланхолических фортепианных экзерсисах нашей соседки. Бывали странные дни, когда события непреднамеренно соединялись – утренний марш военных, вечерний футбол, бурная ссора, переходящая в «Лунную сонату», и я, печатающий на машинке (ушедший из жизни звук) очередную научную статью.

Позднее, когда кое-что из этого было мной описано в упомянутом романе, кто-то из критиков поставил мне на вид то, что безденежный аспирант (герой романа) не мог поселиться в таком монументальном доме. Но, во-первых, дом оказался не столь уж монументальным, а во-вторых, будучи вчерашним аспирантом, я ведь – поселился. И вообще, выражение не мог в отношении русской действительности следовало бы использовать как можно реже. Я, младший научный сотрудник – что в определенном смысле хуже аспиранта, – жил в этом доме, не подозревая, что делать этого не могу. Хотя денег, это правда, не было: занятия древнерусской литературой их не предусматривали. Но я пытался подрабатывать.

Идея подработки пришла (есть в научном мире солидарность) от наших западных коллег. Время от времени они стали присылать к нам студентов для совершенствования их русского языка. Мы селили их в большой комнате, а сами – с дочерью нас было трое – жили в спальне. Очередного нашего гостя мы обучали русскому на перемену с женой. Занятия проходили дважды в день: утром, на свежую голову, грамматика, вечером – чтение и разговорная речь, включавшие постановку произношения. Где-то и сейчас ходят по Европе наши языковые клоны, и сквозь их ощутимый акцент нет-нет да и промелькнут наши с Таней интонации. А может быть, и мысли – мы многое с ними обсуждали.

Одной из первых наших учениц была, помнится, француженка Катрин. Мы читали с ней хрестоматию, включавшую хорошо написанные и легкие для понимания русские тексты. Одним из таких текстов был фрагмент «Аэлиты» Алексея Толстого, в котором желающие лететь на Марс приглашались к семи вечера на Ждановскую, 11. Я, не перечитывавший «Аэлиты» с дней ранней юности, не поверил своим ушам: красиво смягчая согласные, Катрин воспроизводила мой нынешний адрес.

Есть люди с обостренным вниманием к цифре. Таким, без сомнения, был мой одноклассник, который после диктовки списка литературы на лето подошел после урока к учительнице за уточнением. Занося в тетрадь по внеклассному чтению повесть Вс. Иванова «Бронепоезд 14–69», он, оказывается, не успел записать номер бронепоезда. Он боялся прочесть о бронепоезде не с тем номером. Напомнив себе одноклассника, я переспросил у Катрин номер дома. Уже начиная понимать невероятность совпадения, девушка повторила адрес: Ждановская набережная, дом 11.

Прежний деревянный домик под этим номером (а если учитывать левую часть нынешнего строения, то два домика) был невзрачен. Но именно в его дворе размещалась мастерская инженера Мстислава Сергеевича Лося, прототипом которого, как считается, был Юзеф Доминикович Лось, преподаватель Первой высшей школы авиационных техников им. Ворошилова, располагавшейся в соседнем здании. В отличие от Мстислава Сергеевича, Юзеф Доминикович в космосе не был. В 1937 году он попал в НКВД, вернуться откуда было, пожалуй, труднее, чем с Марса. Он и не вернулся.

Нужно сказать, что литература и жизнь на Ждановской набережной сталкивались не только в лице двух инженеров. Область реального была представлена прежде всего автором «Аэлиты», жившим по возвращении из эмиграции в доме номер 3, комфортабельном по тем временам здании с видом на Тучков мост. В этом же доме находилась квартира Федора Сологуба и его жены Анастасии Чеботаревской, в чьей жизни Тучков мост сыграл роковую роль. В 7 номере Ждановской набережной около года прожил Н. Г. Чернышевский, персонаж набоковского «Дара» и автор одного из самых странных текстов русской словесности. Наконец, компанию перечисленным лицам составлял – по созвучию с названием набережной – А. А. Жданов. Подобно Чернышевскому, Жданов художественных произведений не писал, но опубликованный им в 1946 году текст оказал на литературный процесс существенное влияние.

Возвращаясь к Ждановской, 11, замечу, что, помимо запуска космического корабля, там происходили события менее, возможно, масштабные, но совершенно реальные и достойные упоминания. Так, в девяностые годы прошлого уже века, время многочисленных взрывов, гремевших по самым разным причинам, я нашел в нашем парадном торт. Перевязанное кокетливой ленточкой изделие лежало на подоконнике и, несомненно, готово было взорваться. Собственно, если бы не эта ленточка, я прошел бы мимо и не обратил на торт внимания – мало ли что лежит в питерских парадных… Но ленточка на торте показалась мне штрихом избыточным, созданным как бы для контраста с грядущей катастрофой. Если угодно, кондитерским вариантом профессора Плейшнера, который с таким беззаботным видом понятно ведь, что попадет в западню.

Я приложил к коробке ухо: в ней не тикало. Подумав, позвонил в две квартиры на моей лестничной площадке и спросил, не забывали ли их обитатели на окне торт. Нет, не забывали. Особенно это касалось квартиры, населенной алкоголиками (сам не знаю, зачем я к ним позвонил), которые в ответ только

улыбнулись – стеснительно и беззубо. От того, чтобы выбросить все это из головы и сесть за пишущую машинку, меня удерживало одно обстоятельство: в течение часа-двух домой должна была вернуться жена. Во времена пишущих машинок не было мобильных телефонов, и я не мог позвонить ей с предупреждением. Да и о чем, строго говоря, я мог бы ее предупредить? О коробке с тортом? Я мог бы только встретить ее внизу, провести мимо коробки и, если что, взорваться вместе с ней. Но для этого мне бы пришлось караулить ее внизу – неопределенное, повторяю, время.

Я выбрал путь, к которому призывали листки, приклеивавшиеся в те дни к парадным дверям и предлагавшие о подозрительных предметах сообщать в милицию. «Не знаю, – сказал я в трубку, – является ли торт сам по себе подозрительным предметом, но то, что он лежит в парадном, кажется очень…» Мне не дали закончить и велели не подходить к торту. Ровно через четыре минуты в описанный Алексеем Толстым двор влетела спецмашина. Из нее вышли люди в чем-то вроде скафандров, что опять-таки связывало происходящее с полетом на Марс. На вытянутых руках один из них внес в парадное штангу с прибором и медленно приблизил к торту. Подержав ее так некоторое время (напряженные лица стоящих), он сказал, что в коробке – кондитерское изделие. А еще поблагодарил за бдительность и спросил, могут ли они с товарищами это изделие съесть. Я отдал им его без колебаний. Весь двор следил за тем, как из нашего парадного космонавты выносили торт. Глядя на отъезжавшую машину, я не мог избавиться от чувства, что перевязанная ленточкой коробка все-таки взорвется. Что, погрузив зубы в первый же кусок… Нет, торт они съели без единого взрыва.

Жизнь на Ждановской набережной вообще была спокойной. Берега небольших рек дышат умиротворением. Годы спустя после одной из встреч с читателями ко мне подошел человек, представившийся краеведом Петровым. Он подарил мне свою книгу о Ждановской набережной, из которой я много чего узнал о моем бывшем доме. Стоит ли говорить, что часть жизни краеведа Петрова, как и моей собственной, прошла на Ждановской, 11. Только он жил там в шестидесятые годы, а я в девяностые. Подозреваю, что в поисках хозяина торта я звонил в ту квартиру, где Петров, тогда еще не краевед, провел свое детство.

Тему совпадений уместно завершить рассказом о письме Катрин из Парижа. Студентка Сорбонны сообщала, что на семинаре по русскому языку ее группа читала «Аэлиту». Когда на первой же странице романа было указано место полета на Марс, Катрин поделилась с одногруппниками, что по этому адресу она

жила. Никто не отреагировал, потому что сообщение Катрин сочли шуткой не во французском духе. Чтобы замять неловкость, преподавательница подтвердила, что да, ей известно: девушка действительно была в Петербурге. «И жила по этому адресу!» – повторила Катрин, осознавая, что доверие аудитории уменьшается с каждым ее словом. «И жили… – согласилась преподавательница, – главное, не волнуйтесь».

Легко сказать. Попробуй тут не волноваться, когда мир настолько тесен. Когда даже на одной маленькой набережной друг с другом связано столько событий – литературных и реальных, столько людей, адресов и времен. Все соединено в единую цепочку, и одно звено вытягивает за собой другое. И ничто не исчезает.

Михаил Шемякин

Унылые места – очей очарованье

Детство мое прошло в послевоенной Германии, сначала в Кёнигсберге, бывшей столице Пруссии (впоследствии переименованной в Калининград). Затем Дрезден и многие другие города Саксонии, где мой отец занимал должность коменданта. Силуэты немецких городов времени моего отрочества обладали причудливым рваным контуром – результат советских и американских бомбардировок. Небольшие городишки, в которых я жил, были расположены в гористой местности, и узенькие улочки то уходили в гору, то катились под нее, благодаря этому конуры домишек казались скособоченными.

В конце сороковых и в самом начале пятидесятых мы с сестренкой и родителями гостили иногда у моей бабушки в Ленинграде на улице, которая именовалась Большой Зелениной. Некоторые дома, расположенные на ней, были обезображены немецкими бомбами, мне напоминали и Дрезден, и Кёнигсберг. И наоборот – сохранившийся от бомбежек Ленинград поражал и удивлял своей строгой вычерченностью и линейностью. Удивляли бесконечные перспективы улиц, ошеломляющая прямолинейность Невского проспекта. Архитектура этого непривычного и удивительного города пугала и одновременно притягивала, завораживала меня.

В 1958 году моя семья вернулась из Германии в Россию. Мы поселились на Загородном проспекте в доме под номером 64, один из углов которого выходил на Подольскую улицу. В этом доме родился мой любимый композитор Дмитрий Шостакович, а я прожил в нем долгие шестнадцать лет, вплоть до моего ареста и изгнания из СССР. Жили мы на шестом этаже в густо заселенной коммуналке. Квартира была беспокойная. Народец, обитавший в ней, был довольно шумным, крикливым и драчливым. Шофера-дальнобойщики, моряк дальнего плаванья, трамвайная кондукторша и деревенские тетки, заселившиеся в эту квартиру во время блокады. Их оттеняла своим утонченным высушенным ликом и такой же иссушенной фигурой графиня Максимова, которой когда-то принадлежал не то этот, не то соседний дом.

А нынче она обитала в углу за ширмочкой, в небольшой комнате со своей племянницей, преподающей историю керамики в художественно-прикладном училище имени Мухиной.

Родители мои в беспокойной, скандальной шумливости от соседей особо не отличались. Мой отец, бывший кавалерист, гвардейский полковник, уволенный в запас за приверженность опальному маршалу Жукову, с которым он прошел боевой путь Гражданской и Великой Отечественной войн, оставшись не у дел, беспробудно пил и устраивал пьяные дебоши, бесконечно выясняя отношения с моей матерью, которая в свое время воевала в кавалеристской дивизии отца, имела своенравный характер и ни в чем своему супругу не уступала. От этого пьяного угара, табачной вони и шума перебранок мы с младшей сестренкой Танюшей сбегали на улицу, где и бродили без дела до наступления темноты, в надежде, что «бузотеры» наконец-то выяснят свои отношения и хоть как-то угомонятся.

Город того периода моей жизни – до поступления в Среднюю художественную школу при Институте им. Репина – остался в моей памяти почти всегда осенним, печальным, холодным и туманно серым. Выбравшись из нашей «вороньей слободки» на Загородный проспект, мы с Таней размышляли, по какому маршруту мы сегодня намерены слоняться, пока окончательно не продрогнем и будем искать убежища, где можно отогреться.

Парадные двери в те времена не закрывались, и, заходя в любой подъезд, всегда можно было натолкнуться на работяг, торопливо пьющих «из горла» московскую водку, «соображенную на троих», или отогревающихся детей,

сбежавших с уроков. Да мало ли на что и на кого можно было наткнуться в полутемных парадных ленинградских домов, провонявших кошачьей мочой и кухонными «ароматами».

Но кроме парадных, где можно было отогреться, существовало на Загородном проспекте одно не совсем обычное место – Военно-медицинский музей при Военно-медицинской академии (там же располагалась и больница, в которой проходили лечение наши военные разных чинов и званий). Здания этих учреждений тянулись по Загородному проспекту от Технологического института до Введенского канала, который соединял воды реки Фонтанки с грязно-серо-зелеными водами Обводного канала, уходящего за Витебский вокзал. Вход в музей был с Загородного проспекта и, что главное было для нас в этом музее, – вход в него был бесплатным. Тем не менее посетителей в пустынных залах этого музея, кроме меня и моей сестренки, не бывало. Впрочем, иногда какой-то военврач торопливо проводил толпу стриженных «под ноль» новобранцев, громыхающих «кирзой», задерживая их ненадолго перед стендами, посвященными венерическим заболеваниям. Видимо, надеясь, что вид восковых муляжей, наглядно демонстрирующих поэтапное разрушение носового хряща, носоглотки и причинных мест, надолго отобьет у молодых защитников Отчизны охоту до случайных связей. Оторопевшая от увиденного и услышанного «салака» спешила к выходу, тяжелые двери запахивались, и мы с сестрой оставались одни среди натуралистически сделанных восковых ужасов, коими являлись лица людей, пораженных проказой или обезображенные черной оспой, восковые подмышки и пахи с папулами бубонной чумы, изъязвленные различными болезнями ступни ног и кисти рук. В шкафах под стеклом скалили зубы уцелевшие части черепов времен Отечественной войны, демонстрирующие различные пулевые и осколочные поражения. В одном из шкафов пылились колосья пшеницы, которые «поедали» чучелки семейства грызунов, оставляя на колосьях и зернах чумные бактерии. Мою сестренку-чистюлю особенно поражала выставленная напоказ провшивевшая насквозь рубаха окопного солдата. Интерес к музейным экспонатам у нее был неподдельный, и, вероятно, это сыграло не последнюю роль в том, что она долгие годы проработала в госпиталях России и Франции медсестрой, ухаживающей за умирающим людом. Побродив по этим залам несколько минут, можно было понять, почему, несмотря на бесплатный вход, входить в этот музей людей не тянуло.

Нам с сестренкой, как и другим детям войны, выраставшим среди руин разрушенных домов и загородных особняков Кёнигсберга, среди изувеченных

войной советских солдат, немецких жителей, взрослых и детей, нам, натыкавшимся на усохшие трупы, нам, играющим с черепами и костями (кто-то из нас погибал, подорвавшись на найденных в пыли гранатах и минах), – нам в этом музее страшно не было. Отогревшись, мы шли на наше любимое место вынужденных прогулок – на набережную Введенского канала. Длина канала была небольшой – километр с лишком, не более. Там всегда и в любое время года было пустынно. В теплое время канал «благоухал». На мутной воде покачивался вздутый трупик кошки или какой-либо мелкой живности, пахло гнилой застоявшейся водой, тиной – одним словом, витал аромат каналов средневековой Венеции. С ним, с этим ароматом, мой нос столкнулся в 1972 году, когда я разгуливал среди венецианских каналов, где вздувшихся котов и крыс было в разы больше, чем во Введенском канале. Помню, я тогда закрыл глаза, вдохнул… и память мгновенно перенесла меня на набережную Введенского канала.

Запах запахом, но Введенский канал являл собой зрелище неимоверной красоты! Дело в том, что стены канала состояли не из гранитных камней, а из потемневших бревен! Эти бревна время превратило в органные трубы темно-серо-голубоватого цвета, вода порой приобретала тепло-зеленый оттенок, удивительно гармонирующий с цветом бревен. Стволы тополей, тянущихся вдоль канала, перекликались цветом и формой с «трубами Введенского органа». Ни булыжника, ни тем более асфальта вдоль канала не было, только серая или темная от дождя земля, проросшая мелкими пучками чахлой травы, и тишина, тишина. Мы с сестренкой, взявшись за руки, медленно бродили вдоль деревянных, искривленных перил, опоясывающих с двух сторон канал.

Уже тогда я размышлял, как и какими красками можно отразить красоту этого пейзажа. С одной стороны – обветшалые стены Военно-медицинской академии, больницы, музея, с другой стороны – четыре кирпичные трубы, виднеющиеся за стенами небольшого заводика, неизвестно что производящего, но производящего неустанно, ибо трубы испускали из себя удушливый черный дым денно и нощно. А посреди всего этого – чудо-канал – одно из многочисленных свидетельств красот моего любимого Петербурга.

Впоследствии, овладев навыками масляной живописи, я написал полутораметровое полотно, изображающее мой любимый канал, а поняв, что из себя представляет офорт, я воспел Введенский канал и в цветном офорте.

P. S.

Восемнадцать лет спустя я прилетел на свою выставку, которая открылась на Крымском Валу в Москве. После бюрократических проволочек нам с супругой все же разрешили посетить Ленинград, в сопровождении сотрудника КГБ, ровно на 24 часа, ни часом, ни минутой более. Мои друзья, которые не чаяли меня когда-либо увидеть на этом свете, не отпускали меня ни на минуту, но все же я пробежал по любимым залам Эрмитажа, был принят директором Эрмитажа Пиотровским-старшим, обнял Ольгу Николаевну Богданову и Фаину Павловну, под начальством которых я греб снег, колол лед у Эрмитажа и иногда таскал по этажам старинные шкафы, картины, скульптуры. Но! – Введенский канал! Хоть на минуту, но надо взглянуть на него, вдохнуть его! Друзья почему-то пытались отговорить меня, но безуспешно. И вот я заворачиваю за угол знакомого мне Военно-медицинского музея… и вдруг из-за угла на меня несется легковой автомобиль, за ним другой. Я стою остолбенело, не веря своим глазам: Введенского канала нет – вместо него асфальт и километровая дорога, соединяющая мостовую набережной реки Фонтанки с Загородным проспектом. Снесены мосты, снесены гранитные фонарные столбы, с четырех сторон их венчавшие.

Есть такие книги со страшным названием: «Осталось только на фотографиях». Боже мой! Как хотелось, чтобы эти книги не пополняли фотографиями домов, мостов, каналов нашего неповторимо-прекрасного Петербурга- Ленинграда.

Сергей Носов

В торце Большой Московской

Он умеет зябнуть, особенно после дождя, когда крупные капли стекают по его спине. В солнечную погоду он бросает длинную тень, он видит ее, когда она направляется в сторону храма. Он словно поднимет голову сейчас и что-то скажет, а пока он в задумчивости отвернулся от вывески курса обмена валют и ювелирного магазина, – вывески поменяются много раз, а этому «пока» длиться и длиться. Многим он запоминается гранитным, и правда – его как будто вырубили из камня, хотя на самом деле это бронзовый памятник, гранитный лишь постамент.

Он – как человек. Не в том смысле, что слишком похож (действительно похож – на известный портрет кисти Перова), а в том смысле, что максимально активно – насколько на это способны, вообще говоря, памятники – обнаруживает себя в поведении: то события создает, то побуждает к эксцессам, то провоцирует происшествия. Живет, одним словом. И живет среди людей.

Первое из таких событий запечатлел Александр Сокуров в документальном фильме, который так и называется «Петербургский дневник. Открытие памятника Достоевскому». Жизнь любого памятника начинается, понятное дело, с его открытия, но от того, что произошло 30 мая 1997 года, благодаря Сокурову останется свидетельство не просто факта истории, а особого коллективного переживания. «Сиди спокойно, Федор Михайлович», – произнес Андрей Битов, и эта фраза, наверное, комичная вне контекста, была до странности уместна тогда. Да вот и Битов говорил об «уместности», уместности памятника по формуле этого времени – «между рынком и храмом». Говорили, что он как будто всегда был здесь. Что это долг города самому петербургскому писателю. Шостакович не мешал церковному хору, губернатор помнил имена создателей монумента: Любовь Михайловна Холина, Петр (ее сын) и Павел (ее внук), оба Игнатьевы… А когда закончились речи, и городское начальство село в машины, и допустили к монументу неприглашенных, камера сосредоточилась на том, что для Сокурова всегда главное, – на лицах людей – тех, кто просто пришел побыть, посмотреть, постоять. И это, да, – документ.

«…На лица людей смотреть надо чаще», – прямо прозвучало за кадром.

«Наверное, чтобы любить их больше, – добавляет голос Сокурова. – Ну и, наверное, чтобы литература не ушла от нас».

Тут что-то очень личное – про лица и литературу.

Ну а что до любви…

Начиная с 2010 года, в первую субботу июля («В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки…»), в общем, в начале июля отмечается в Петербурге, если кто не знает, День Достоевского. Во многих отношениях это веселый праздник. «Достоевский forever», «Достоевский рулит!», «Родя, ты не прав!» – плакаты, шествие героев романов, перфомансы, акции, флешмоб. А что? Достоевский был склонен к

эксцентрике, чувством юмора обладал – может быть, своеобразным чувством юмора, но тем не менее. Любил шутку и розыгрыш. Но дело даже не в этом. Достоевский не то чтобы «наше все», а теперь он для нас как бы мы сами (так нам, наверное, чувствуется, когда поднимаем плакат «Родя, ты не прав!»). Трудно представить, чтобы так запанибратски обращались с героями Солженицына. А с персонажами Достоевского мы уже как-то срослись.

И бронзовому Достоевскому в торце Большой Московской это должно быть известно лучше, чем кому-нибудь другому. Перепад людских настроений он испытал на себе. Строгость почестей, оказанных ему в самом начале на открытии, вовсе не отменяла в перспективе возможность карнавальных настроений читателей и почитателей. И вот уже на гранитных тумбах – перед его глазами и на радость публике – в урочный час могут появиться такие объекты, как «живые статуи» персонажей «Преступления и наказания» (если сам он – «бронза под гранит», то они – «живое тело под бронзу»). Один ли, с Анной ли Григорьевной, «живой» Достоевский появляется в этот день у себя на балконе в Кузнечном переулке – чтобы поприветствовать гостей праздника: внизу на воздвигнутых подмостках произойдет главное представление. Правда, взору памятника оно недоступно – может, это и к лучшему.

В обычные дни ему, конечно, спокойнее. Но и в обычные дни он в постоянном контакте с миром людей. Или мир людей с ним в постоянном контакте (если встать на позицию, что мир его «достает»). Перед ним часто копают – здесь проложены какие-то трубы, и, когда их меняют, он вынужден на это смотреть. Пространство вокруг него часто переблагоустраивается. Деревья за спиной то спиливают, то сажают. Два фонарных столба, стилизованных под старину, привлекают к себе расклейщиков несанкционированных объявлений. Чтобы избежать расклейки непосредственно на столбах, к одному из них на уровне фонаря однажды приделали отвлекающий щит, и действительно, объявления, что покрупнее, посолиднее (формат А4 и без отрывунчиков), стали появляться закономерно на этом щите («все виды юридической помощи», «возвращение водительских прав», «срочный кредит»), а те, что попроще, помельче и с отрывунчиками («комната у метро», «массаж в любое время суток»), все равно находили себе место непосредственно на столбах, отчего создавалась видимость, что столбы шелушатся. В конце концов щит убрали, и это хотя бы потому уже было правильно, что он Достоевскому загораживал фонарь. Справедливости ради отметим, что пьедестал памятника расклейщики объявлений, по-видимому, берегут, а ведь мы знаем в городе немало постаментов, подвергающихся суровой обклейке.

Однажды я увидел возле пьедестала не что-нибудь, а мотороллер – это ж надо было завезти его за гранитные тумбы с оградой, чтобы площадку, относящуюся к зоне монумента, использовать как место парковки… С одной стороны, мотороллер смотрелся здесь диковато, но с другой – было в этом что-то и трогательное. Словно доверили памятнику посторожить ценную вещь, и он за ней в самом деле присматривает.

Впрочем, так откровенно памятник редко используют. Обычно его назначают местом встречи. Здесь всегда кто-нибудь кого-нибудь ждет, поглядывая на часы. Я и сам много раз договаривался о встрече «у Достоевского», и мне приходилось быть свидетелем, а иногда и участником всяких сцен.

Почему-то пьяненьких, и особенно сильно пьяненьких как магнитом притягивает к памятнику Достоевскому, наипаче в летнее время: то один прикорнет у пьедестала, то другой. Вроде бы в округе есть и более укромные места, где бы можно было прилечь, так ведь нет, почему-то именно здесь, у пьедестала на видном месте появляется время от времени чье-нибудь тело, свернувшееся калачиком. А не выражается ли этим жестом знак интуитивного почтения Достоевскому – за, допустим, замысел романа «Пьяненькие», образ Мармеладова, интерес к теме? И не отдает ли пьяненький таким образом себя под защиту памятнику? Ни разу я не видел, чтобы милиция-полиция нарушала тут чей-либо покой. Словно высшею санкцией оделяет бронзовый Федор Михайлович тех, кто с открытым сердцем к нему.

Но обычно выпивохи, бомжи, а иногда и профессиональные нищие с паперти храма, в котором Достоевский был прихожанином, обустраиваются тут на длинной скамье, поближе к площади – медитируют себе, иные спят. Это место им полюбилось.

Сейчас я расскажу одну историю, которая, на мой взгляд, только и могла произойти здесь – «у Достоевского». Это совершенно невероятный, совершенно фантастический случай. Одна из самых немыслимых и невозможных сцен, происшедших когда-либо на моих глазах.

Представьте себе летний день две тысячи какого-то года: двое встречаются в условленное время и на условленном месте – здесь, «у Достоевского». Двое – это Павел Крусанов и я: вообще-то мы ждем третьего, уже не помню кого, да это и не важно, он все равно опоздает. Писатель Крусанов пришел раньше меня, и я увидел его издалека, еще не перейдя площадь. А подходя к памятнику, отметил

боковым взглядом тот самый клуб здешних сидельцев, разместившийся на каменной скамье, – совершенно обычный для данного места. Необычным был только один из них (из-за него эта компания и обратила на себя внимание) – он резко выделялся каким-то уж совершенно запредельным видом, просто не заметить такого и пройти мимо невозможно было, ну я и царапнул по нему взглядом.

Подхожу к постаменту, жму руку Крусанову, он достает из сумки две бутылки пива, одну мне дает, открываем, делаем по глотку. Сейчас бы мы не стали вот так пить пиво, и не потому, что на улице теперь запрещено, а потому, что оба и как-то синхронно давно уже разлюбили этот напиток. А тогда это было, в общем-то, в порядке вещей, особенно если ждешь и стоишь на месте. Вот мы стоим у гранитной тумбы, ждем опаздывающего товарища, говорим о чем-то – да о литературе, наверное, – и тут я замечаю, что тот субъект жуткого вида отделяется от скамейки и направляется к нам. Понятно, что сейчас последует просьба о вспомоществовании, и я внутренне готовлюсь к этому. Вид у него… как бы это сказать… появись такой на экране, никто бы не поверил в реальность образа. Это когда хочется отвернуться: «О, Господи!» (Ну вот, снова вспомнил Сокурова – про лица людей, на которые надо смотреть, чтобы их полюбить…) Лицо неравномерно опухшее, глаз заплыл так, что века не видно, но тут лучше остановиться в описательной части… И по одежде видно, что где-то лежал, где лежать не принято. Поддат, но в движениях верен, и подходит он к нам достаточно целеустремленно – с видом человека, понимающего, какой вызывает эффект. Подходит и, подобострастно извинившись, осипшим голосом страдающего алконавта просит добавить на пиво – войти в положение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24155058&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или

Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Происхождение фразы не установлено.

Купить: https://tellnovel.com/elena-shubina/v-pitere-zhit-ot-dvorcovoy-do-sadovoy-ot-gangutskoy-do-shpalernoy-lichnye-istorii-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити